

Programme
A Pouchkine

Издание осуществлено в рамках
программы содействия издательскому делу «Пушкин»
при поддержке Французского института в России

Cet ouvrage, publié dans le cadre du
programme d'aide à la publication Pouchkine,
a bénéficié du soutien de l'Institut français de Russie



УХОБИОГРАФИИ
ВОКРУГ ВАВИЛОНСКИХ БАШЕН
ШИББОЛЕТ
ЗОЛЫ УГАСШЪЙ ПРАХ

JACQUES DERRIDA

FEU LA CENDRE

DES FEMMES

P A R I S

XX ВЕК
КРИТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЖАК ДЕРРИДА

ЗОЛЫ УГАСШЬЙ ПРАХ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
И КОММЕНТАРИИ В. Е. ЛАПИЦКОГО

MACHINA
ПЕТЕРБУРГ

РЕДАКТОР Б. В. ОСТАНИН

Деррида, Жак

Золы угасшѣй прах / Пер. с франц. и коммент. В. Е. Лапицкого. — 2-е изд., испр. — СПб.: Machina, 2012. — 115 с.
(Критическая библиотека)

ISBN 978-5-90141-084-4

ISBN 978-5-90141-080-6 (сб.)

© Éditions des Femmes—Antoinette Fouque, 1987

© В. Е. Лапицкий, перевод, комментарии, 2002, 2012

© А. Г. Наследников, издание, дизайн, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Жак Деррида
ЗОЛЫ УГАСШЬЙ ПРАХ

7

Комментарии

68

ПРИЛОЖЕНИЕ

Есть ли у философии свой язык?
Ответы Жака Деррида на вопросы
издательства 'Autrement'

89

Виктор Лапицкий
Западно-восточное паспарту

108

ПРОЛОГ

Пятнадцать с лишним лет назад ко мне пришла фраза, будто бы вопреки мне, скорее вернулась, исключительная, исключительно краткая, почти немая.

Я считал, что она со знанием дела расчислена, обуздана, подчинена, словно бы я раз и навсегда ее присвоил.

Но с тех пор мне беспрестанно приходилось признавать очевидность: фраза обошлась безо всякого соизволения, она зажила без меня.

Она всегда жила одна.

В первый раз (был ли тот раз первым?) случилось это, стало быть, пятнадцать с лишним лет назад, в конце книги, «Рассеяния». В абзаце, посвященном благодарностям, в момент, когда книга посвящается, отдается или уступает тем, кто, известные

или безвестные, вам ее перед тем даровал, выше-означенная фраза пришла, чтобы навязаться мне с властностью, сколь бы скромной и простой она ни была, приговора: и вот—зола.

Тире вписалось между вот и зола—и вот зола, и вот, —, зола. Но тире, хоть и читается глазами, не слышится: и вот—зола. На слух простой пробел грозит уничтожить и место, упоминание или память о месте, и тире. Но при чтении про себя, напротив, черта тире зачеркивает пробел, пробел зачеркивается, сам, само, скорее дважды, чем однократно.

Эту фразу, каждая буква которой в тайне для меня в счет, я впоследствии повторял, цитируя ее или нет, в других текстах: например, в «Гласе», в «Почтовой карточке».

На протяжении почти десяти лет—хождение взад-вперед этого призрака, неожиданные посещения привидения. Она говорила в одиночку. Я должен был объясниться с ней, ей ответить—или ответить за нее.

Когда друзья в 1980 году пригласили меня написать что-либо на тему пепла для ныне исчезнувшего альманаха «Анима», я предложил в пародийном жанре полилога с виду непроизносимую беседу, на самом деле—письменное уложение, которое, можно было бы сказать, *взывало* к голосу, к голосам. Но как заставить услышать этот зов, фатально безмолвный, который говорит, не дожидаясь собственного голоса? Как оставить его в ожидании?

На странице, в действительности, лицом к лицу сталкиваются два писания: с одной стороны, справа, собственно полилог, чересполосица неопределенного числа голосов, одни из которых кажутся мужскими, другие—женскими, и это иногда называется—в грамматике фразы. Эти, как, впрочем, и другие, грамматические знаки прочитываемы, но они сплошь и рядом исчезают при произнесении вслух, что усугубляет некую заминку между письмом и голосом, заминку, к риску которой уже подталкивал отступ тире между слов или пробел в *и вот—зола*.

Рискованное это напряжение между письмом и речью, колебание между грамматикой и голосом,— это и одна из тем полилога. Каковой, кажется, предназначен глазу, согласуется только с внутренним голосом, голосом абсолютно тихим.

Но как раз этим он и побуждал к чтению, анализировал, быть может, то, что огласовка могла вызывать и, одновременно, потерей чего могла угрожать,—невозможное произречение и необнаружимые тональности. Осмелюсь ли я сознаться в своем желании, чтобы у него было место, свое место, между этим зовом—и этой угрозой? Чего оно дожидалось?

Однажды появилась возможность, нужно сказать—удача, такой граммо-фонии. Прежде чем воплотиться технически (что в настоящее время также является уникальной новацией в издательской

истории), удача эта предполагает желание, здесь— желание Антуанетты Фук: проторить путь тем голосам, которые донимают письмо. И, в общем и целом, пустить их в ход, наконец-то в дело. Не для того, чтобы подменить книгу вокальной сценой, а чтобы дать и той, и другой, тем самым скрепляя или состыковывая их друг с другом, их пространство или, скорее, их *соответственно присущий* объем; не думаю, что от этого пострадает безмолвное чтение—или тяга к книге, каковая, напротив, извлечет из подобного опыта новые интерпретационные возможности. Издательство *Des Femmes* не только предложило эту двойную среду, страницу и звуковой объем, впредь неразъединимые в самой своей разнородности, оно предоставило место и повод для чего-то вроде учебной лаборатории, *студии*, в которой стали возможны опыты по интерпретации голосового письма.

Какому же экспериментаторству мы тем самым вместе предались, Мишель Мюллер, Кароль Буке и я? Мы подвергли проверке следующий вопрос—одновременно опасение и вызов: на каких условиях стоит рискнуть во весь голос, чего я, собственно, и ждал, но что наперед описал, объявил и чего прежде всего страшился как самого невозможного, иной сказал бы: *запретного*? Ведь на странице, вроде бы, каждое слово было отобрано, затем помещено таким образом, что никакое прорицание никакого голоса никогда не получит к нему доступа.

В некоторых случаях, в отсутствие помеченных и противоречивых требований, рискованным переход к грамофоническому акту делала сама неопределенность: с лишком свободы, тысяча способов, все равно законные, акцентировать, отмечать ритм, варьировать тон.

В других случаях, идет ли опять речь о цезуре, о паузе или о согласовании, требовалось принять одновременно максимально противоречивые решения: один и тот же слог *должен* быть прочитан *в-не-совместности* регистров. И тем самым не должен. Эта потенциальность может оставаться, если можно так выразиться, в глубине и восприниматься при молчаливом как раз-таки чтении, туманной, завуалированной. Как заставить ее, отбросив осторожность, выйти из запаса без акта веры, абсолютного зияния в момент невозможного решения? Какое всегда оказывается доверенным—в подходящий момент—голосу другого. Нет, *одному из* голосов другого, *другому* голосу: здесь—голосу Кароль Буке.

Кому решать, был ли этот голос одолжен, вручен или отдан? И кому?

Вовлекаясь в невозможные выборы, громкий «записанный» голос позволяет прочесть то, что у письма в резерве, его тональные и фонические пульсации, волны (ни крик, ни речь), которые связываются и развязываются в единственном выкрике, в особом радиусе другого голоса. Каковой, от-

фильтровывая возможности, себя пропускает, он заранее прошедший: вдвойне присутствующая па-мять или раздвоенное присутствие.

Что же вовлечено в сей фонографический акт? Интерпретация, одна из многих. На каждый слог, на, даже, каждое молчание наложено решение: оно не всегда было продуманным, ни, подчас, одним и тем же от повторения к повторению. И оно не ставит подписи ни под законом, ни под истиной. Другие интерпретации остаются возможными—и, без сомнения, необходимыми. Так анализируется ресурс, представляемый сегодня этим двойным текстом: с одной стороны, графическое пространство, открытое множеству прочтений, в традиционной и невредимой форме книги—нечто иное, чем книжечка либретто, поскольку оно *пере-дано* чтению, иная отдача, новая, в очередной раз первая сдача; но, с другой стороны, одновременно и тоже в первый раз, здесь и звуковой архив единственной, своеобразной интерпретации: однажды, тем или той, расчет и случай одним махом.

Решаясь, подчас того не желая, на одну из нескольких интерпретаций (в смысле чтения, но также и театра, и музыки), голос не изменяет тексту. Если он так и поступает, то разве что в том смысле, что измена оказывается откровением: например, беспокойный полилог, который делит каждый атом письма. Проявление невозможной истины, на которую нужно будет, в каждый момент и несмотря

на повторения, раз и навсегда решиться. Высказывание тогда изобличает, оно разоблачает то, что захватит его в один прекрасный день среди всех голосов, которые разделяются или на которые делится один и тот же голос.

Напротив полилога, на левой странице—цитаты из других текстов («Рассеяние», «Глас», «Почтовая карточка»*), все они говорят что-то о золе, пепле, прахе, примешивая свою золу и слово «зола» к чему-то другому. Они сопровождают, они сюда *провожжены*: незавершенный архив, все еще горящий или уже выгоревший, напоминающий некоторые места текста, непрерывная медитация, мучительно дразнящая, одержимая тем, что есть и не есть, хочет сказать—или замолчать—зола. Цитатам этим предпослано слово *animadversio*, которое на латыни означает *внимание, наблюдение, замечание, напоминание* и которое я выбрал в знак уважение к альманаху «Анима».

Пусть, наконец, мне будет дозволено подчеркнуть среди других две трудности в звуковой сценографии, которая все же оказалась опробована. Прежде всего, нужно было *сразу* и подчеркнуть, и зачеркнуть тире в «И вот—зола»—и в других ме-

* Хотя он и не цитируется, аллюзия целит еще в один текст: это «Телепатия», нечто вроде приложения к «Почтовой карточке», которая затевается вокруг тех же буквосочетаний (из латинских L, A, C), что и «Глас» (см. *Furor*, 2, 1981 и *Confrontation*, 10, 1983). «Шибболет» (1986), также посвященный золе, еще не был опубликован.

стах. Сделать сразу и то, и другое было невозможно, и если слово «тире» отвечает чему-то в напевности, то именно переживания золы и пения и ищут здесь себе имя.

Далее, коли записанная версия позволяет услышать два голоса, из которых один кажется мужским, а другой женским, это не сводит полилог к дуэту, и тем паче к дуэли. И в самом деле, пометка «другой голос», которая иногда слышится без прочтения, часто будет служить предостережением. Она сигнализирует, что каждый из двух голосов представляется еще и другим. Повторяю: они в неопределенном числе: голос подписывающего тексты фигурирует лишь как один из них—и нет уверенности, что он мужской. Ни что другой женский.

Но слова «другой голос» не только напоминают о множественности персонажей, они *поминают*, они *требуют* другого голоса: «другой голос, еще, еще один другой голос». Это—желание, приказ, молитва или обещание, как вам угодно: «другой голос, пусть он придет в этот час, еще, другой голос...» Приказ или обещание, желание молитвы, я не знаю, еще нет.

Ж. Д.

ЗОЛЫ УГАСШЪЙ ПРАХ

ANIMADVERSIONES

I

«Самоотстраняясь, оформляясь при этом целиком, почти без остатка, письмо одним махом отрицает и признает долги. Предельный крах подписи, вдалеке от зоны центра, даже секретов, которые здесь разделяются, чтобы рассыпаться золой.

Хотя буква и сильна этой единственной косвенностью, тем, что всегда способна не дойти по адресу, я не воспользуюсь этим в качестве предлога, чтобы отклониться от пунктуальности посвящения: Р. Гаше, Ж.-Ж. Гу, Ж.-К. Лебенштейн, Ж.-А. Миллер, другие, и вот—зола, признаем же, быть может, то, что внесло сюда их прочтение. *Декабрь 1971*».

— И в самом конце, внизу последней страницы, будто ты подписался этими словами: «И вот— зола». Я читал, перечитывал, это было так просто, и, однако же, мне было понятно, что меня там не было, фраза, не дожидаясь меня, вернулась к своему секрету.

— Тем более, что этот отступ, указующее тире, вам не дано уже услышать. Только слушать, закрыв глаза, мне хотелось бы успокоиться, шепча «зола», смешивая тире, да, с простой паузой между двух слов. Нужно было расшифровывать, не теряя равновесия между глазом и ухом, я не уверена, что смогла на этом остановиться.

— Со своей стороны, мне поначалу представилось, что зола была там; не здесь, но — там, словно история, которую предстоит рассказать: зола, пепел, ветхое серое слово, запыленная тема человечества, незапамятный образ сам по себе разложился, метафора или метонимия самого себя, такова судьба всякой золы, отсеянной, выгоревшей как зола золы. Кто посмеет еще отважиться на поэму о золе? Пепельное слово, может пригрезиться, что оно было: само в этом смысле зола — вот, там, удалившееся в прошлое, утерянная память о том, чего здесь уж нет. И тем самым, своим тире, его фраза хотела бы сказать, ничего не скрывая: зола уже не здесь. Была ли она здесь когда-нибудь?

— И вот— зола, когда это случилось, почти десять лет тому назад, фраза отступила от самой себя вдаль. В себе она несла свое далеко. Несмотря на свое место и внешность, она не отдалась подписи, она больше не принадлежала, словно бы, не означая ничего, что можно было бы счесть умопостигаемым, она пришла издалека на встречу с тем, кто ее предположительно подпишет, кто ее даже не читал, ее едва воспринял, скорее пригрезил как легенду, как струйку табачного дыма: эти слова, что выходят у вас изо рта и тут же теряются, не находя признания.

— Представь, вот что мне хотелось бы спросить (но у кого? впервые сегодня утром, спустя десять лет, я осознаю, и даже могу себя в этом убедить, что же именно отпечаталось при ее чтении во мне, в самом центре запретной, но подготовленной для немого наслаждения зоны: отсутствие незаполненного места перед такой золой, одним словом, чуть намеченное посредством тире подобие кивка заставляло по-женски содрогаться призраком в глубине слова, в дымке, имя собственное в глубине имени нарицательного. Здесь золы нет, но: и вот— Зола.

— Кто такая Зола? Где она? Куда она стремится в этот час? Если омофония удерживает единственное имя в имени нарицательном, то было это именно вот там— личность исчезнувшая, но

вещь, которая сохраняет и в то же время теряет ее след, зола. Это вот там—зола: то, что хранит, чтобы больше даже и не хранить, обрекая остаток рассеяться; и это уже более не исчезнувшая личность, оставившая—вот там—золу, лишь ее имя, да к тому же неразборчивое, нечитаемое. И ничто не запрещает думать, что это к тому же и прозвище самозванного подписывающего. И вот—зола, так фраза говорит то, что она делает, то, что она есть. Она испепеляется вмиг, у вас на глазах: невозможная миссия (но мне не нравится этот глагол, испепелять, я не нахожу в нем никакого сродства с уязвимой нежностью, с терпением золы. Он активен, резок, остер).

—Нет, эта фраза *говорит* не то, что она есть, а то, чем она *была*, и, так как сия вокабула с недавних пор была использована вами уже несколько раз, не забудьте, что в памяти остается угасший огонь, слово «угасшее» в выражении «угасшей золы» или «угасший прах». Прах всех наших утерянных этимологий, *fatum, fuit, functus, defunctus*.

—Фраза говорит то, чем она станет, отдаваясь впредь сама себе, вручаясь себе как свое собственное имя, растраченное искусство секрета: от выставки суметь себя сберечь.

—Предположи, хотелось бы мне попросить, что эта легенда только сигнализирует, причем для

того, чтобы умолчать обо всем, кроме себя: я емь сигнал золы, я напоминаю что-то или кого-то, о ком ничего не скажу, но этот отчерк, очевидно, для того, чтобы ничего не сказать, должен будет аннулировать изреченное в своей речи, предать его огню, уничтожить его в пламени и никак не иначе. Нет золы без огня.

Все это обязано огню и, однако, если возможно, без тени жертвы, в полдень, без долгов, без Феникса, и единственная фраза приходит разместить вместо всякого размещения лишь только место испепеления. Она сознается только в ходе испепеления, памятником которому остается, почти безмолвным, может быть, вот там—

— Но зачем вам предавать огню? Чтобы сохранить сокрытой или чтобы потерять, оставляя на виду, серость траура, полутраур, что дорожит собой, лишь пока длится зола. Почему там зола? Место сожжения, но чего, кого? Пока этого не знают, а вы не узнаете этого никогда, провозглашает фраза тем, что она говорит громче всего, испепеленное уже ничто помимо золы, остатка, который обязуется больше не оставаться, это место ни для чего, себя зашифровало чистое место.

— Слово чисто. Оно призывает огонь. И вот— зола, вот что занимает это место, оставляя место,

чтобы дать понять: ничему не будет места, кроме места. И вот—зола: вот и место—уместна.

—Где? Здесь? Или—там? Где же слова на странице?

—Вот предписание. Идиома «уместно», никогда вам ее не перевести, не более, чем какое-либо скрытое имя собственное, а ведь она тут и все уносит: к признанию, к долгам, к долгу, к предписанию. Вот это уместно: имя собственное; уместно сделать то или это: дать, отдать, почтить, полюбить. И действительно, местоположение легенды (и вот—зола) окружает ее дружбой, выражая благодарность и при этом рассеиваясь. И вот—зола, это было, в общем и целом, как хрупкий и ломкий заголовок книги. Незаметно отстраненное, рассеяние фразирует тем самым в трех словах то, что предназначено огнем к безвозвратному рассеиванию, чья пирификация не остается и ни к кому не возвращается.

—Если само место окружается огнем (опадает в конце концов золой, падает в качестве имени могилой), его уже нет. Остается зола. И вот—зола; перевожу: золы нет, она не то, что есть. Она осталась *от* того, чего нет, чтобы напоминать в своих ломких глубинах только небытие или

неприсутствие. Бытия без присутствия не было и не будет более там, где есть зола и способна заговорить другая эта память. И вот, доберется ли зола туда, где она означает различие между тем, что осталось, и тем, что есть?

—Он, возможно, видит непристойность в необходимости комментировать, читать даже и цитировать эту фразу: к слову говоря, это, по сути, означает курить фимиам. Что бы он там ни утверждал, «и вот—зола» остается ему. А все то, что мы об этом здесь скажем и на разный лад повторим, законной подписью, которую, якобы, привел в негодность, он заново свяжет, он заберет у нас обратно, чтобы поместить в очаг своего собственного пожара—или своей собственной семьи: не бывает золы без очага или топки, без какого-то огня или места. Зола как дом бытия...

—Твоя предосторожность простодушна. Он ответит так, как ему заблагорассудится: хотя она и появилась в книге, носящей его подпись, фраза ему не принадлежит, он сознается, что прочел ее, перед тем как написать. Она, эта зола, была ему отдана или одолжена столькими другими, столькими забытыми, а впрочем, никто здесь не курит перед этим секретом фимиама комментариев. Мы не совлекаем с нее буквально ничего,

II

«Чистый и безликий, свет этот сжигает все. Он сжигает себя в том всеожжении, каковым он является, не оставляя ни от себя, ни от чего бы то ни было никакого следа, никакой меты, никакого знака перехода. Чистое выгорание, чистое излияние света без тени, полдень без противника, без сопротивления, без препятствия, волна, ливень, возжженные потоки света: «[...] (Lichtgüsse) [...]».

«Всеожжение есть "лишенная сущности игра, чистый атрибут субстанции, которая только *восходит*, не *опускаясь* внутрь себя (ein wesenlosen Beiherspielen an dieser Substanz die nur *aufgeht*, ohne in sich *niederzugehen*), не становясь субъектом и не укрепляя своих различий с помощью самости (Selbst)"».

ничего, что в конечном счете не оставляло бы ее нетронутой, девственной (только это ему и нравится), нерасшифровываемой, безучастно безмолвной, короче, в убежище золы, которая— вот, и которая она и есть. Ибо покинутая в своем одиночестве, свидетель кого-то или чего-то, вообще золу фраза даже не называет. Вещь эта, о которой не известно ничего, ни какое прошлое все еще несет эту серую пыль слов, ни какая субстанция горела здесь ясно, пока не угасла (известно ли вам, сколько типов золы различают натуралисты? и желание какого «дерева» вызывается подчас подобным прахом?), не скажут ли еще о подобной вещи, что она сохраняет даже и тождественность золы? В настоящем, здесь и теперь, вот некая материя—видимая, но едва ли читаемая,— которая, отсылая лишь к самой себе, уже не оставляет следа, если только она не следит, теряя след, что она едва ли оставляет

— что она оставляет хоть чуть

— но именно его-то, это изглаживание, он и называет следом. У меня сейчас такое ощущение, что наилучшая парадигма следа для него это не, как некоторые ему поверили, да и сам он, быть может, тоже, охотничья дорожка следов, протор пути, бороздка в песке, бурун в море, любовь к

«...огонь артист. Само слово (Beiherspielen) играет роль примера (Beispiel) рядом с сущностью».

«Всесожжение—которое имеет место всего один раз и, между тем, повторяется до бесконечности—столь удачно уклоняется ото всякой сущностной общности, что становится схожим с чистым различием некоего абсолютного случая. Игра и чистое различие— вот секрет неощутимого всесожжения, поток огня, который воспламеняется сам собой. Выходя из себя, чистое различие отличается от самого себя и, следовательно, безразлично. Чистая игра различения—ничто, она даже не *относится* к своему собственному пожару. Свет погружается во мрак еще до того, как стать субъектом».

«Как от этого беспредельного выгорания может остаться что-то, что заладит диалектический процесс и откроет историю?»

«Как чистейшее из чистых, наигоршее из горших, панический пожар всесожжения может выдвинуть какой-либо памятник, пусть даже крематорий? какую-либо геометрическую, устойчивую форму, например, *пирамис*, которая сохраняет след смерти?

Пирамис, это еще и пирожное из меда и муки. Его подносили в виде вознаграждения за бессонную ночь тому, кто оставался бодрствовать».

«Если оно уничтожает вплоть до самих своих буквы и тела, как может всесожжение сохранить след самого себя и почать историю, в которой оно сохраняет себя, себя теряя?

Здесь опробуется неумолимая сила смысла, посредничества, трудоемкого негатива. Что-

бы быть тем, что оно есть, чистотой игры, различия, выгорания, всеожжение должно перейти в свою противоположность: обещать, обещать свое движение утраты, проявиться как то, что оно есть, в самом своем исчезновении. Как только оно проявляется, как только разгорается пламя, оно остается, оно удерживается, оно теряется как пламя. Чистое различие, отличное от себя, перестает быть тем, что оно есть, чтобы тем, что оно есть, остаться. Это—исток истории, начало заката, заход солнца, переход к западной субъективности. Пламя становится для себя и потеряно; тем горше, чем лучше.

Тогда, вместо того, чтобы все сжечь, начинают любить цветы. Религия цветов следует за религией солнца.

Возведение пирамиды сохраняет жизнь—мертвеца—чтобы дать место и повод для-себя-бытию поклонения. Оно обладает значением жертвы, приношения, которым всеожжение аннулируется, открывает кольцо, снова его замыкает в годовщину солнцеворота, принося себя в жертву как всеожжение, то есть себя сохраняя».

«Удача сущности, оставания, определенного как устойчивое существование».

«Различение и игра чистого света, паническое и пироманское рассеяние, всеожжение отдает себя в виде холокоста для-себя-бытию, gibt sich dem Fürsichsein zum Opfer. Оно приносит себя в жертву, но чтобы остаться, обеспечить свою сохранность, строго-настрога

себя к себе привязать, стать самим собой, для-себя, при себе. Чтобы принести себя в жертву, оно себя сжигает».

«Паническая, беспредельная инверсия: слово *холокост*, которому случилось статься переводом Orfer, более подходит к этому тексту, чем слово самого Гегеля. В этом жертвоприношении все (holos) сжигается (caustos), и пламя сможет угаснуть, лишь разгоревшись».

«Что же вступает в игру с этим холокостом самой игры?»

«Быть может, вот что: дар, жертва, всеприятие в игру или в огонь, холокост обладают онтологической потенцией. Без холокоста диалектическое движение и история бытия не могли открыться, вовлечься в свое ежегодное годовое кольцо, аннулировать, прокладывая курс солнца с востока на запад. Прежде, если тогда было можно считаться со временем, до всего остального, до любого определяемого сущего, есть, было и будет вторгающееся событие дара. Событие, которое не имеет более никакого отношения к тому, что обычно подразумевают под этим словом. Таким образом, нельзя более мыслить дарение, исходя из бытия, но можно было бы сказать “наоборот”, если бы сия логическая инверсия была уместной здесь, когда еще и речи нет о логике, лишь о происхождении логики. В “Zeit und Sein” дар es gibt’a отдается мысли прежде Sein’a в es gibt Sein и перемещает все то, что определяют под именем Ereignis, слово, зачастую переводимое как *событие*». [...]

«...процесс дара (до обмена), процесс, который есть не процесс, а холокост, холокост самого холокоста, *запускает* историю бытия, но ей не принадлежит. Дар *не есть*, холокост *не есть*, если все же *вот он*. Но как только он загорается (пожар не есть сущее), он должен, сжигая сам себя, сжечь свою функцию сжигать и начать быть. Эта рефлексия, это отражение холокоста запускает историю, диалектику смысла, онтологию, спекулятивное. Спекулятивное есть отражение (*speculum*) холокоста холокоста, пожар, отраженный и остуженный ледяным стеклом зеркала». [...]

«В этом фатум дара, и необходимость эта сказывалась в том “должен” (*muss*), который указал нам на нее выше [...]. Я даю тебе—чистый дар, без обмена, без возврата—но, хочу я того или нет, дар сохраняется, и отныне ты должен. Чтобы дар сохранился, ты должен. [...]

Дар может быть лишь жертвой, такова аксиома спекулятивного разума. Даже если он возникает “до” философии и религии, дар имеет в качестве судьбы или предназначения, в качестве *Bestimmung*’а возврат к себе в философии, религиозную истину».

шагу за его отпечаток, а зола (что остается, не оставаясь, после холокоста, все소жжения, воскресения благовонного фимиама)

— Что она остается хотя бы и для очень немногих, а хоть чуть ее коснешься — и она падает, она не рассыпается пеплом, она теряется, вплоть до самого праха своей золы. В процессе такого письма он сжигает еще раз, он сжигает то, что все еще обожает, но что уже сжег, при этом так истово, и я это чую, я имею в виду запах тела — может быть, его. Весь этот прах, он в нем неистовствует.

— Говорят: «горячая зола», «хладный прах», в зависимости от того, помнится ли еще внутри огонь, тлеет здесь или более уже не поддерживается. Но там? Когда у золы, целиком во фразе, весь состав лишь в ее синтаксисе, тело в слове? Слова, жарко это или холодно? Ни жарко, ни холодно. А серые очертания этих букв? Между белым и черным, цвет письма напоминает единственную «буквальность» золы, которая еще удерживается в языке. В золе слов, в золе имени, сама зола, буквальная — та, которую он любит, — исчезла. Имя золы оказывается опять же золой самой золы, прахом.

— Именно поэтому в изрекаемом здесь приговоре золы уже нет и в помине, но там — вот — зола.

— Там — кремация пробела испепеляет саму золу. Он ее рассеивает и тем сохраняет — этим тире — ее, на секунду.

— Он (но, возможно, это она, зола), может быть, он знает, что он хотел тем самым сжечь, прославить, воскурить в секрете изречения, может быть, они это еще знают, может быть, он все-таки знает об этом хоть кое-что. Но этой же ночью он может еще раскрыть что-то неведомое или бессознательное в той легенде, которую он говорит подчас, что прочел, подчас, что, вспоминая его слово, подделал. Он произносил его с английским акцентом, моя «незаконная подделка». А ведь он рано или поздно умрет. И, пусть и ненадолго, у крохотной фразы есть шанс его пережить, более золою, чем когда-либо, — там — и, менее чем когда-либо, ей некому сказать «я».

— Но поддельщик может лгать, он лжет, я в этом почти уверена, словно по опыту, на дне этой фразы нет, несомненно, никакого настоящего секрета, никакого определенного имени собственного. Однажды он признался мне, но я так до сих пор ему и не верю, что первая буква чуть ли не каждого слова — И. В. З. — была инициалом какого-то другого слова, провозглашая во всеуслышание, но на иностранном языке, совсем

другое заявление, и что это последнее будто бы играет роль закодированного имени собственного, на самом деле—его зашифрованной подписи. Поверить я ничему этому не поверила, просто он тут же измыслил подлог, он всегда может солгать или даже просто не быть уверенным в том, что, по его словам, знает. Ну и вот тут-то—зола. Если бы он и в самом деле был уверен в истинности того, что знает, откуда бы у него тогда это желание писать и тем более публиковать фразу, которая становится столь неопределенной? К чему пускаться на самотек и затаивать подобным образом столь внятное предложение? И вот его предложение, что вот, мол,—зола, уже состоит—со всей своей предельной хрупкостью, как и с тем ничтожным временем, которым оно располагает (жизнь его будет столь кратка)—в том не-знании, к которому направляются, всегда парой, письмо и признание. Тот и другой, та и другая в том же склепе прознают друг о друге.

—Из-за терпеливого, мучительного, иронического возврата экзегезы, которая ни к чему не ведет, простодушные же сочтут ее неподобающей, не окажется ли, что мы лепим из языка урну для этой фразы праха, которую сам он бросил на произвол судьбы и доли, покуда доблесть саморазрушения в одиночку ведет огонь в самом центре?

—Но урна языка столь хрупка. Она рассыпается, и ты тут же сдуваешь пыль слов, каковые и есть сама зола. А коли ты доверяешь ее бумаге, то лишь затем, чтобы лучше, мое дитя, воспламениться, ты тут же ешь себя поедом. Нет, это не гробница, о которой он бы грезил, чтобы работа, как они говорят, траура имела в ней место обрести время. В этой фразе я вижу гробницу гробницы, памятник некоей невозможной могилы—запретной, словно память о кенотафе, отвергнутое терпение траура, отвергнутое также медленное разложение, укрытое, помещенное, поселенное, госпитализированное в тебе, пока ты раз за разом откусываешь по кусочку (он не хотел надкусывать наживку, но должен был это сделать). Испепеление, быть может, прославляет ничто всему, его безвозвратное, но безумствующее в своем желании и своей хитрости (дабы лучше все, дитя мое, сохранить) разрушение, самозабвенно, очертя голову рассеменяющее утверждение, но также и полную противоположность, категорическое «нет» тягостной пахоте траура, «нет» огня. Можно ли согласиться работать на его высокопреосвященство траур?

—Можно ли не согласиться? Это-то он, траур, и есть: история его отказа, рассказ о твоём перевороте, твоём, ангел мой, восстании, когда оно

III

«...И, чтобы закончить это второе письмо:
“...Приняв это в соображение, остерегайся,
как бы тебе не пришлось сожалеть о том, что
сказанное теперь недостойным образом по-
лучило огласку. Более всего надо печься о
том, чтобы ничего не записывать, но учить на
память... *то ме графейн алл'экманфанейн...*”

входит в историю и в полночь ты выходишь замуж за принца. Что касается урны языков, будь то даже и пламени, не думай, что она так уж ломка. И не лги, ты хорошо знаешь, как крепка фраза. Самим своим исчезновением она сопротивляется столь многим затмениям, она всегда сохраняет шанс вернуться, она воскуряет себя до бесконечности, по сути дела, это намного надежнее, чем помещать архив в какое-нибудь предназначенное нашим внеземным потомкам железобетонное свехукрытие. Фраза щеголяет всеми своими мертвецами. И как бы ты ни ела себя поедом, говорят бабушка и волк, на которых ты работаешь, это все равно на руку трауру.

— На его месте, мне бы не пришло в голову это писать, нет, лучше сразу сжечь.

— Что и было сделано, не так ли?

— По твоим недавним словам, у него для этого пепельного слова не может быть «сегодняшней» фразы. Нет, быть может, всего одна-единственная, но имеется, заслуживает обнародования, она гласит о всесожжении, иначе говоря холокосте, о печи крематория, по-немецки на всех еврейских языках мира.

— Вы говорите, что больше не помните места, где легенда второй раз, в той же книге, как бор-

ведь невозможно, чтобы написанное не получило в конце концов огласки. Поэтому сам я никогда ничего не писал о таких вещах... *уд'эстин сюнграмма Платонос уден уд'эстай*, нет письменных творений Платона и не будет. А то, что теперь читают, *Сократос эстин калу кай неу гегонотос*... это речи Сократа, когда он, еще молодой, был прекрасен. Будь здоров, слушайся меня, а это письмо, прочтя его несколько раз, сожги..."

—Надеюсь, именно это не затеряется. Живо, копию... графит... уголь... прочтя его несколько раз... сожги. И вот—зола. И теперь не помешало бы отличить одно из этих повторений от другого...

Проходит ночь. Наутро слышатся удары в дверь. На сей раз они, похоже, идут снаружи, эти удары...

Два удара... четыре...»

IV

«Надеюсь, именно это не затеряется. Живо, копию... графит... уголь... прочтя его несколько раз... сожги. И теперь не мешало бы отличить одно из этих повторений от другого...

Проходит ночь. Наутро слышатся удары в дверь. На сей раз они, похоже, идут снаружи, эти удары...

Три удара...»

мотание Платона, заполняющее замкнутое пространство...

— Благоуханное бормотание, фармаконом называют иногда особые благовония, да и итерация, вторая, каковую она является, тоже наводит на мысль о цитате, но она возобновляется лишь сразу в первый и последний раз. Если вы уже больше и не припоминаете, то дело тут в том, что испепеление идет своим чередом и выгорание продолжается само по себе, все та же зола и пепел. След, которому суждено, как и всему, самому по себе исчезнуть, дабы затерять путь и, к тому же, разжечь воспоминание. Зола права, ибо в отсутствие следа она-то по справедливости и следит, торит след, более, чем кто-либо другой, и след(ит) как бы другой. Хотя она и приходит раньше по порядку в книге, на переплетенных страницах, вписанную сюда она оказалась лишь после второй: ее не было в первом издании того же текста. И где же между двумя версиями зола другой, здесь или там?

— Итак, подобным справедливым возвратом золы и пепла, а я уже давно наблюдаю за тобою, когда ты пишешь, то, что ты, запыхавшись, выносишь из своей погони, прокладывает себе путь длинной пепельной дорожкой. Тщетно ты

V

«27 августа 1979 года. Сразу после твоего звонка. Ну нет, тем паче не Феникс (впрочем, для меня, на моем основном языке, это прежде всего марка...»

VI

«Что касается самих «Посылок», не знаю, приемлемо ли здесь чтение. Если угодно, вы можете рассматривать их как остатки уничтоженной не так давно переписки. Огнем или тем, что фигурально занимает его место, с

защищаешься, ты объемён, лишь постольку, поскольку способен посыпать себя пеплом, как голову в знак траура.

— И вот восстание против Феникса, и к тому же утверждение огня без места и траура.

— Фраза остается для меня зримой, и даже еще до перечтения образ ее у меня в воспоминании отпечатывается множащимся, с дважды занятым пробелом, и вот: зола. Ошибочная версия, которую надлежит предать погребению, как делают с именем Бога евреи, когда та или иная рукопись его оскверняет. С ним, с немым двоеточием, не способным суметь послышаться или что-либо изменить на слух, с ним играла моя память, она играла с омофонией единственного числа в игру более избирательную, наверняка более успокоительную. Но это «вот» означало впредь, что неисчислимо тело под золой в полной единственности. Инкубация огня, почивающего под пылью праха.

— Огонь: то, что не удастся затушить в том следе среди следов, каковым является зола. Память или забытьё, как тебе угодно, но угасшего огня, черта, которая все еще доносит о сжигании. Несомненно, огонь-то отступил, пожар усмирен, но если вот—зола, стало быть, огонь отступил

еще большей гарантией не оставляя ничего вне досягаемости того, что мне нравится называть языком пламени, даже золу, если тут, вот—зола.

Разве что—счастливый случай».

VII

«Так как на целиком сгоревшие посылки невозможно было указать никакой меткой».

VIII

«Стоило тебе меня послушаться и все сжечь, и ничего бы не произошло. Я же, напротив, хочу сказать, что произошло бы нечто неизгладимое, вместо того...»

IX

«Ничего не произошло, поскольку тебе хотелось сохранить (и, стало быть, потерять) то, что в действительности и составляло смысл приказа, пришедшего извне, из-за моего голоса, помнишь, столько лет назад, в первом моем "настоящем" письме: "сожги все"».

X

«... потом ты добавила) "Я жгу. У меня дурацкое ощущение, что я тебе верна. Тем не менее я сохраню некоторые подобия твоих фраз [потом ты мне их показала]. Я просыпаюсь. Я вспоминаю о золе. Какая удача, сжечь, да, да..."»

внутри. Своим отступлением он опять делает вид, будто покинул территорию. Он вновь маскируется, он переряжается под покровом многообразия, пыли, гримерной пудры, непрочного фармакона множественного тела, которое не держится более самого себя,— не остаться при себе, не быть для себя, вот сущность золы, сама ее зола.

—И вновь над священным местом благовоения, но никакого памятника, никакого Феникса, никакой эрекции, которая держится—или опадает,—неподъемная зола, любая зола меня любит, все они меняют тогда свой пол, они андроицируются, они андрогинизируются.

—Она играет со словами, как играют с огнем, я не прочь разоблачить ее как пироманьяка, который хочет заставить нас забыть, что церкви—на Сицилии—строят из окаменевшей лавы. Пиротехническое письмо делает вид, будто уступает все тому, что рассеивается с дымом, оставляя—вот—лишь золу, которой не быть в остатке. Я вставил бы длинный рассказ, имена, Малларме, историю табака, «Фальшивую монету» Бодлера, «Очерк о даре», «Враз выражая всю душу [...] стоит Только золе отделиться [...] Точный смысл похерит сдуру Смутную литературу».

XI

«Символ? Колоссальный холокостический пожар, всеожжение, наконец-таки, в которое мы бросим вместе со всей нашей памятью и наши имена, письма, фотографии, безделушки, ключи, фетиши и т. д.»

XII

«Холокост детей

У самого Бога
был лишь выбор между двумя кремационными печами».

XIII

«Они днем с огнем ничего в этом не увидят».

XIV

«В конечном счете, первая удача или отдача долга, великая опалина этого лета. Ты будешь там, скажи мне, в последний миг, каждому по спичке для начала [...] В Судный день мы подойдем к огню вплотную, быть может, в тот день я буду играть с огнем по меньшей мере в третий раз, и каждый раз для самого тяжелого ухода».

XV

«Но только в принципе, и если невозможно ограничить то, что отдается огню на откуп, руководствуясь лексикой и "темами", то отнюдь не по обычным причинам (отдать огню

его долю, разжечь встречный огонь, чтобы остановить распространение пожара, избежать холокоста). Напротив, дает о себе знать необходимость целого...».

XVI

«...никогда мне этого не достичь, повсюду порча, и нам никогда не разжечь пламени. Язык отравляет нам самый секретный из наших секретов, уже нельзя больше гореть у себя, мирно, очертить круг очага, нужно еще принести ему в жертву и свое собственное жертвоприношение».

XVII

«и когда ты больше не вернешься, после огня, я по-прежнему буду посылать тебе нетронутые, немые открытки, ты уже даже и не распознаешь в них ни воспоминаний о наших путешествиях, ни наших общих мест, но будешь знать, что я тебе верен».

XVIII

«Это был, наверное, первый желанный холокост (как говорят: желанный ребенок, желанная девушка)».

XIX

«Там, где я подчеркнуто говорю правду, они будут ослеплены огнем. Кстати, ты знаешь, что Софья Фрейда была кремирована. Он тоже».

XX

«Завтра я напишу тебе снова, на нашем иностранном языке. Я не запомню из всего этого ни слова, и в сентябре, а я даже не увижу этого заново, ты сожжешь ты сожжешь это, ты, обязательно ты».

—Этими цитатами, этими ссылками вы позволяете золу, вы, чего доброго, намерены возвести какой-то новый университет. Не лучше ли послушать Вирджинию Вулф в «Трех гинях»: «Заработанные [женщинами] деньги ни в коем случае не должны идти на реконструкцию университета в старинном духе; и, поскольку они наверняка не смогут быть потрачены на конструкцию университета, учрежденного на новых основаниях, гиня эта снабжена будет надписью: «Ветошь, бензин, спички». К этому присовокупят следующую заметку: «Возьмите эту гиню и обратите университет в прах. Сожгите старое лицемерие. Пусть свет пожараща вспугнет соловьев! Пусть обагрят ивы! Пусть дочери людей образованных ведут хоровод вокруг огня! Пусть они поддержат пламя, кидая в него охапки сухих листьев, а из окон верхних этажей пусть высунутся их матери, пусть закричат: «Гори! Гори ясно! Ибо мы покончили с этим „образованием“».

—Ко всему прочему, нужно уметь жечь. Нужно знать в этом толк. И есть еще «парадокс» Ницше—который, возможно, превращает его в нечто иное, нежели просто мыслитель целокупности сущего,—то, что отношение золы ко всему не казалось ему более упорядоченным включением части в целое или некоторым успокои-

тельным метонимическим логосом: «Наш мир весь целиком есть зола неисчислимых живущих существ; и сколь бы малую толику ни составляло живущее по отношению к целокупности, как бы то ни было, один раз все уже было обращено в жизнь, и так будет и дальше». Или в другом месте («Веселая наука»): «Остережемся говорить, что смерть противопоставлена жизни. Живущее есть лишь род мертвого, и притом весьма редкий род».

—В первой легенде, которая приходит ко второй, после нее, движение посвящения (признания долгов, а не их возмещение) по крайней мере говорит, показывает, едва говоря, что зола приходит на место дара. Должно быть, имел место дар, даже если и не сказано, как, собственно, и следует, чтобы он имел место, чего или кого. Признание и отрицание долга, «одной делящей чертой», «вдалеке от зоны центра». И всего одной буквой, одним махом, ударом языка в л/н («Хотя буква и сильна этой единственной косвенностью») любая зона размягчается и распыляется, она рассеивается одним взмахом, броском кости: зола.

—Немое, посвящение притворно возмещает долг. Но оно не способно вернуть или отдать ничего, кроме угасшего праха, усопшего огня,

оно ничего не говорит, оно не дает появиться ничему, относящемуся к себе, к своему источнику или предначертанию, разве что дорожке песка, да еще и лишая вас чувствительности; жгуч песок или нет? И вот—зола, на месте других, уже во множественном числе, их имен, а не их самих, «и вот—зола—других».

—Это, очевидно, фигура, изображение, даже если при этом и не проглядывает никакое лицо. Зола имени изображает— и потому, что здесь нет золы, зола не здесь (нечего тронуть, никакого цвета, ни тела, одни слова), и, в особенности, потому, что эти слова, которые посредством имени, как предполагается, именуют не слово, а вещь, они тут как тут и именуют одну вещь вместо другой, метонимия, когда отделяется зола, одну вещь, фигурально изображая другую, от которой в ней не остается ничего изображимого.

—Но как некое слово, негодное даже на то, чтобы назвать золу вместо воспоминания о чем-то другом, может, перестав все еще куда-то пересылать, представить самое себя— слово словно из золы, ей подобное, сравнимое вплоть до галлюцинации? Зола, само слово, никогда не находится здесь, но—там.

—Для этого нужно, чтобы ты взяла его в рот, когда испущенный вздох, стоит ей перейти в вока-

булу, исчезает из виду, как жгучее семя, уходящая в никуда лава. Зола — всего-навсего слово. Но что такое слово, чтобы выжигать себя вплоть до того, что его несет (магнитофонная или бумажная лента, саморазрушение невозможной передачи, как только отдан приказ), вплоть до поглощения им без видимого остатка? И ты можешь принять семя также и ухом.

— Какая разница между золой и копотью: последняя по видимости теряется — и даже лучше, без осязаемого остатка, — но при этом подымается, она тает в воздухе, разрезается и истончается. Зола же падает, устает, сдает; более материальная, поскольку распыляет свое слово, она очень делима.

— Как я понимаю, зола совершенно не от мира сего, не нечто остающееся в качестве сущего. Она, скорее, есть бытие, которое вот, — это имя бытия, каковое — вот, тут, но которое, хоть себя и дает (*es gibt ashes*), ни что не есть, остается по ту сторону всего, что есть (*конис эпекейна тес ускас*), остается произносимым, чтобы дать возможность его произнести, тогда как оно ни что не есть.

— Мое желание не заходит далее невидимого, сразу же «прогоревшего» между решетка-

ми языков расстояния—между золой, cendre, ashes, cinders, cinis, Asche, cendrier, пепельницей (целая фраза), Aschenbecher, ashtray и т. д., и cineres, и, в особенности, la ceniza Франсиско де Кеведо, его сонетами «К Везувию» и «Yo soy ceniza que sobró a la llama;/ nada dejó por consumir el fuego/que en amoroso incendio se derama», рассеивается и «será ceniza, mas tendrá sentido;/ polvo serán, mas polvo enamorando».

—Я хорошо слышу, я слышу его, ибо у меня ухо остро и на пламя, коли зола безмолвствует, словно он жег бумагу на расстоянии, через лупу, концентрацией света в стремлении видеть, чтобы не видеть, предаваясь письму из страсти скорее к неведению, чем к секретам. Я бы сказала в качестве защиты и прославления его собственной фразы, я, зола, что его письму нет дела до знания. Грубая зола, вот что ему по вкусу, а начальная согласная мало что значит, когда слово кончается на -ола или -ала, касается ли то глагола, имени собственного или нарицательного, или даже прилагательного, когда оно становится кратким;—мала. А что за ЛА, что он с нею делает, пусть без глаголов, спрашиваю я себя (мы, бы, за, пи, го, Кук, да ЛА). Оставляю вам искать примеры.

«Перед смертью я отдам распоряжения. Если тебя там не окажется, пусть извлекут мое тело из лагуны, сожгут и пошлют тебе мой прах, урну, бережно оберегаемую (с надписью “хрупкое”), но не заказную, чтобы испытать судьбу. Такою будет моя посылка, которая придет уже не от меня (или посылка, пришедшая от меня, ее заказавшего, но к тому же и посылка меня, как тебе больше нравится). Тогда тебе, наверное, вздумается примешивать мой прах к своей еде (утренний кофе, сдобная булочка, чай в 5 часов и т. п.). Проглотив некоторую дозу, ты начнешь цепенеть, влюбляться в себя, я буду наблюдать, как ты тихо продвигаешься к смерти, ты приблизишься ко мне в тебе с безмятежностью, о которой мы не имеем представления, с абсолютным примирением. И ты тоже отдашь распоряжения... В ожидании тебя я вот-вот засну, ты все время здесь, нежная моя любовь».

Animadversiones: I. «Рассеяние». II. «Глас». III. «Фармация Платона» (в «Рассеянии»). IV. «Фармация Платона» (в «Тель-Кель»). V–XXI. «Почтовая карточка».

—А с этой лагуной—или это залив, отозалив, это—залив,—когда он задействовал здесь всю телепатию—вот, тоже, И Вот ЗоЛА.

—Нет, вы трактуете его фразу как накопление прибавочной стоимости, прирост ценности, как будто он спекулирует на какой-то капитальной золе. А ведь речь идет именно об отступном, о том, чтобы уступить без малейшей памяти о себе свой шанс дару, в конечном-то счете, через корпус, кучу золы, которой все равно, сохранит ли она свою форму; только об уступке, безо всякого отношения к тому, что мною из любви только что сделано, и я собираюсь вам сказать—

Feu la cendre, P., Des Femmes, 1987. Впервые опубликовано в альманахе *Anima*, 5, декабрь 1982, с. 45–99, без пролога и в чуть ином виде (имеется также двуязычное итальянское издание: *Feu la cendre / Cio'che resta del fuoco*, Sansoni, Florence, 1984). Книгу сопровождала (к сожалению, оставшаяся для нас недоступной) магнитофонная запись, на которой Жак Деррида и Кароль Буке на фоне музыки Штокхаузена читают ее текст.

Название работы содержит в себе довольно изощренную языковую игру. Прежде всего, в современном французском языке имеется два разных слова *feu*, далеко отстоящих друг от друга и по значению, и по этимологии: *feu* существительное—огонь, пламя и т. п. и *feu* прилагательное—покойный, усопший, причем последнее имеет книжный, архаический характер и отличается уникальными особенностями в употреблении. В отличие от «рядовых» прилагательных, оно может стоять не только после опреде-

ленного артикля: *la feue reine* (или *la reine feue*), но и перед ним, причем в этом случае *не согласуется* в роде и числе с существительным: *feu la reine*; при этом значение этих двух выражений дифференцируется: о мертвой королеве говорится *feu la reine*, когда живой королевы на данный момент не имеется, и *la feue reine* в случае, если усопшую королеву уже сменила другая. Под первую схему и подпадает по всем формальным признакам наша фраза. Однако с неформальной, смысловой точки зрения *усопшая зола* (а прилагательное *feu* в конечном счете восходит к гнезду латинских слов, центрирующихся вокруг слова *fatum*, рок, судьба—усопший это тот, кто выполнил свое предназначение, свершил свою судьбу) представляет собой довольно странное языковое образование, в пандан к которому напрашивается крайне естественное сопоставление, воплощенная метонимия: *огонь, зола* (подобная двусмысленность была уже использована Деррида в записи от 18 декабря 1977 года в «Картушах», работе, включенной в книгу «Истина в живописи»—*La vérité en peinture*, P., Flammarion, 1978). Одновременное восприятие двух этих прочтений и хотелось сохранить в переводе. Точнее, не забывая, что главным «действующим лицом» ключевой фразы всего текста является зола, нам хотелось: а) сохранить отсылку к огню, сгоранию и т. п.; б) сохранить «заупокойные» коннотации (ср. тематику жизни / смерти в предыдущих текстах); в) передать неопределенность, неоднозначность, двусмысленность оригинального заглавия. Отсюда и возникло название «Золы угасшѣй прах», где ней-

тральная фонема *ъ* подчеркивает, что при прочтении вслух за этой фразой могут скрываться две разные: *золы угасшей прах* и *золы угасший прах*.

И еще одна дополнительная деталь: в контексте ключевой в данном тексте хайдеггеровской проблематики бытия следует указать и на—также обыгранное и обкатанное в «Картушах»—*созвучие* (на сей раз не полное) слова *feu* с отдельными формами прошедшего времени (*fut* и *fût*) глагола *être*, *быть*.

Сам текст, как проясняется в первых же строках пролога, разворачивается вокруг двух фраз-близнецов: *il y a la cendre / il y a lá cendre*, не отличимых при произнесении вслух. Обе они, в свою очередь, построены на основе безличного оборота *il y a*, оказавшегося во второй половине XX века в эпицентре многих философских коллизий. Во всех трех, дерзнем сказать, *основных* европейских языках, английском, немецком, французском, параллельно существуют подобные выражения: *there is, es gibt, il y a* (все они в первом приближении переводятся на русский как *имеется, есть*)*; и одно из них, *es gibt*, вошло в знаменитую формулу Хайдеггера *es gibt Sein*, постулирующую наличие бытия. Эта формулировка, всего единожды появляющаяся (в закавыченном виде) в «Бытии и времени» (*Sein und Zeit*, 212; в рус-

* Конечно, почти идентичная идиоматика выражается разными средствами: во французском и немецком упоминается некая безличная инстанция (*il* и *es*), в английском и французском имеется отсылка к месту (*there* и *y*), во всех языках фигурируют разные глаголы (быть, давать, иметь)...

ском переводе В. Библихина—«бытие „имеет место“») и, казалось бы, чисто механически переносимая на смежные языки (из «очевидности» ее перевода на французский исходит и сам Хайдеггер), стала, однако, в процессе перевода поводом для дискуссий и развития. С одной стороны, воспринятый в результате такого переноса и подвергшийся понятийной проработке французский оборот *il y a* с конца 30-х годов (впервые, по-видимому, в работе *De l'évasion*, 1936) субстантивирует в одну из основных категорий своей (разрабатываемой) философской системы Э. Левинас. С другой, на важности исходной формулы и ее несводимости к французскому (не говоря уже об английском) варианте неоднократно заявляет сам Хайдеггер. В наиболее развернутой форме его соображения высказаны в «Письме о гуманизме» (и, позднее, в докладе «Время и бытие»). Хайдеггер настаивает, что использует выражение *es gibt* с учетом его синтаксической формы и буквального смысла: *es gibt* буквально означает «оно дает», и Хайдеггер пишет: «Ведь то „оно“, которое здесь „дает“, это само бытие. „Дает“ же обозначает саму сущность бытия, которое дает и дарует свою истину». И далее он добавляет, что *es gibt* используется также и для того, чтобы не говорить, что «бытие есть», поскольку глагол «есть» («быть») принадлежит сфере сущего, но не самого бытия (напомним, что во французской фразе используется глагол *avoir*, а в английской—*be*)^{*}.

* Все это лишний раз подчеркивает приближенность имеющихся русских переводов *es gibt*, «иметь место» в «Бытии

В схожем русле трактует отличие (хайдеггеровского) *es gibt* от (собственного) *il y a* и Левинас, противопоставляющий щедрость дарящего себя бытия у Хайдеггера безличному гнету своего безличного *l'il y a*. Вскользь эту тему затронул в фундаментальном эссе о Левинасе («Метафизика и насилие» в «Письме и различии») и сам Деррида, однако в перспективе собственного проекта деконструкции метафизики присутствия он должен отправляться скорее от деконструкции самой этой фразы, и эту процедуру—здесь—он осуществляет, сохраняя (синтаксическую) структуру оприсутствования, но «встраивая» сконструированное ранее *различание* в ключевое понятие, вводя метонимию-метафору бытия/отсутствия. Ведь *зола* выступает здесь как ино-бытие бытия, его след («След—или же зола. Эти имена стоят других»,—гласит «Шибболет»), от него, бытия, различенный—в его различании с самим собой. Весь этот «бытийный» подтекст казалось бы

и времени» и «имеется» или «имеет себя» в «Письме о гуманизме»: помимо использования эксплицитно неодобренного Хайдеггером глагола «иметь», здесь в первом случае возникает «место» (само для Деррида и многих других, включая «позднего» Хайдеггера—см. «Время и бытие»,—«герой» непростых философских коллизий; ср. хотя бы знаменитый пассаж из «Броска кости»: «Ничто не будет иметь места кроме места»), а во втором к тому же добавляется и совсем странный, противный Хайдеггеру мотив исходного и, следовательно, самодостаточного имени бытия самим собою, хотя в соответствующем месте «Бытия и времени» как раз таки и говорится, что бытие *es gibt*, «лишь пока *есть* Dasein».

невинной, но по сути «троянской» фразы необходимо иметь в виду при чтении настоящего текста, но этим дело не кончается.

На сцену письма вступает и двойник, другая, вне этой сцены от нее не отличимая фраза: *il y a là cendre*. С формальной точки зрения, определенный артикль женского рода * *la* заменяется на указательное местоимение *là*, дейктическую привязку *здесь / там* (напомним, что некоторая пространственная ориентировка, если не ориентация, заложена уже в самом обороте *il y a—у*, как-никак, означает *здесь*; в этом, надо сказать, немецкая фраза противостоит и французской, и английской). Но смысл фразы меняется куда существеннее, чем то диктуется немой заменой артикля-детерминанта на безличный и, казалось бы, избыточный дейксис. Если *il y a la cendre* высказывает абстрактный факт существования вообще золы, то *il y a là cendre* указывает: акцентируя, намечает некий (неконкретизируемый) локус и тем самым конкретизирует называемую там золу**,

* Женский род золы для Деррида более чем в счет—и вновь отсылает к онтологической тематике: половому различию в его отношении к *Dasein*'у и тому, как его понимает Хайдеггер, посвящена, в частности, работа Деррида *Geschlecht I* (1983, вошла в его книгу *Psyché: Inventiones de l'autre*, P., Galilée, 1987, p. 395–414).

** Разница между двумя этими фразами проявляется и в сфере, так сказать, их иллокутивной модальности: если в первой фразе полностью доминирует констативное измерение, то во второй на первый план выходит, организуя место и обособляя приписываемую ему золу, уже перформативное начало.

дифференцируя (внося в нее различие) абстрактную, всеобщую золу первой фразы. И, подчеркнем лишний раз, голос бессилён высказать, какую из двух фраз произносит, какой из двух смыслов хочет высказать.

Такова предварительная расстановка сил в той игре, которой предаются далее анонимные и—на письме—сплошь и рядом лишенные пола (рода) голоса. Как перевести все это—то есть две коротенькие и почти идентичные фразы—на русский? Да еще с учетом подчеркиваемого автором их благозвучия? Предлагаемый здесь «перевод» уместнее, наверное, назвать переложением, ибо многим в нем приходится поступаться (тем более—по цепочке—рамками переложения ограничены и те отрывки текста, в которых автор обращается непосредственно к грамматической или синтаксической структуре исходной фразы). Однако, как хотелось бы думать, этот *пере-сказ*, в общем и целом, может говорить сам за себя, способен подменить локализирующую «акцентировку» указующим «жестом» тире (может быть, стоит пойти на риск и назвать его если и не «перформативным», то, по крайней мере, «перформирующим», наделенным перформативной функцией знаком?), способен сдерживать на себе и перевод всего этого текста. Отметим * только дополнительную связь, подкрепляющую перевод *es gibt* (и, тем самым, французского *il y a*) русским

* Коли речь зашла о перформативе, я не мог отказать себе в удовольствии написать остаток преамбулы в подчеркнутом перформативном ключе.

*вот**. Вспоминая, что при всех переводческих перипетиях *вот* все же остается основой, базисной единицей для перевода пресловутого, непереваемого хайдеггеровского *Dasein*** (традиционно, надо сказать, переводимого на французский как *l'être-là*), каковое, в свою очередь, непосредственно причастно нашей фразе, процитируем в этой связи еще раз «Бытие и время» (а также и цитирующее его «Письмо о гуманизме»): «Конечно, лишь пока *есть Dasein*... „имеется“ [„es gibt“] бытие». И заметим также, что традиционный французский перевод *Dasein* как *l'être-là* еще теснее связывает исходную французскую фразу с нашим ее переводом.

И, наконец, последнее: осмыслить появление в этой (русской) фразе начального *и* предоставляет читателю.

Стр. 8. ... в пародийном жанре полилога... — Впервые восходящий к своему прототипу — диалогам Бланшо из «Бесконечной беседы» (*L'Entretien infini*, 1969) — полилог возник среди работ Деррида в напечатанном в 1976 г. и включенном позднее в целиком посвященные прозе Бланшо «Прибрежья» (*Parages*, P.,

* Подобный оборот (*и вот*) употреблялся нами и в переводе «Последнего слова» М. Бланшо (в сборнике *Locus Solus*, СПб., Амфора, 2000), где, в частности, о нем говорится, что «это, без сомнения, последнее слово».

** См. в этой связи чрезвычайно интересные (и непосредственно примыкающие к нашим) соображения переводчика Е. Борисова в книге: *М. Хайдеггер. Прологомены к истории понятия времени*, Томск, Водолей, 1998, с. 343–344.

Galilée, 1986) тексте с амбивалентным названием *Pas* («диалог двух голосов, один из которых явно мужской... а второй скорее женский...»); следующим опытом стал «полилог для $n + 1$ —женского—голоса» *Restitutions de la vérité en peinture*, вошедший в «Истину в живописи». Особая подчеркнутость того факта, что некоторые из участвующих в полилогах голосов—женские, частично мотивируется и тем, что само слово *голос* по-французски женского рода (ср. также с маркированно женским родом таких «персонажей» настоящего текста, как *зола* и *фраза*—и с постоянной персонификацией абстрактных категорий женского рода—таких как *мысль*, *идея*, *жизнь*, *закон*—в столь значимой для Деррида прозе Бланшо).

Стр. 9. *Граммo-фония*—в переводе с греч.—*звукозапись*, но буквально—и в полном соответствии с построениями Деррида—*голосовое письмо*.

Стр. 13. ...слово *animadversio* ... означает *внимание*, *наблюдение*, *замечание*, *напоминание*—а также и *взыскание*, *порицание*, *наказание* и даже *кару*—вплоть до смертной.

Стр. 13, сноска. ...еще ... один текст: это «*Теленатия*»...—Эта работа включена в *Psyché* (op. cit., p. 237–270).

Стр. 14. ...и если слово «*тире*» отвечает чему-то в *напевности*...—В оригинале ключевая фраза *il y a la / là cendre* и в самом деле отличается редким благозвуч-

чием. В переводе же нам остается предложить читателю за словом тире *услышать* две ноты: ми-ре.

Стр. 16. ...*вдалеке от зоны центра*...—Здесь, как и в нескольких других местах, Деррида обыгрывает почти полное совпадение слов *endre*, *зола*, и *centre*, *центр*, получаемого оглушением всего одного звука; в переводе эта пара заменяется парой *зола/зона*.

...*буква ... всегда способна не дойти по адресу*...—По-французски *буква*, как и *письмо* (в смысле послания)—это *la lettre*. Здесь смешение двух различных значений одного и того же слова непосредственно препровождает к постоянно интересующей Деррида проблематике адресации текста (и даже *письма*—тоже в двух смыслах!) и, конкретнее, почтовых отправлений (см. в этой связи прежде всего «Почтовую карточку» (*La Carte postale. De Socrate à Freud et au-delà*, P., Galiléé, 1980)).

Стр. 21. ...*утерянных этимологий, fatum, fuit, functus, defunctus*.—Перечисляются предложенные в словаре Литтре гипотетические этимологии французского *feu* (прилагательного).

Стр. 23. *Слово чисто. Оно призывает огонь* (и выше—*чистое место*)—Чистое (*pur*) слово призывает огонь по межъязыковому созвучию: огонь по-гречески это *пир*, *пирос* (причем даже через *υ*: *пур*), от которого и произошли такие слова как *пиротехника* или *пиромания* (см. также ниже *пирофикация*). Отголоски

этой *переключки* отдаются по всему тексту (см., в частности, левые страницы). (Отметим заодно—хотя обычно подобных двусмысленностей не отмечаем, стараясь их просто по возможности передавать,— что предложение «Слово чисто» можно понимать—опять же, в первую очередь на слух—и как назывную конструкцию: «Слово „чисто“».)

Стр. 25. ...*ничему не будет места, кроме места.*—Цитата из «Броска кости» Малларме (*rien n'aura eu lieu que le lieu*; в русском переводе М. Фрейдкина—«Пустота, где нет ничего, кроме нее самой»; пунктуация наша).

...*заголовок книги.*—Речь, как подсказывают рассеянные в соседних фразах однокоренные слова, идет о «Рассеянии» (J. Derrida, *La dissémination*, P., Seuil, 1972).

...*опадает в конце концов золой, падает в качестве имени могилой.*...—Французский текст (*tombe en cendre finalement, tombe en tant que nom*) допускает совершенно разные трактовки, поскольку глагол *падать, tomber*, в форме третьего лица единственного числа совпадает с существительным *tombe, могила*, что неоднократно обыгрывается Деррида—например, в «Гласе» (даже в тех крохотных фрагментах, перевод которых опубликован в журнале «Комментарии», 11, 1997).

Стр. 27. ...*это, по сути, означает курить фимиам.*—Инфинитив глагола *encenser, восхвалять, курить фимиам*, на слух почти не отличим от *insensé, без-*

умный, безрассудный, так что эта фраза может звучать и как *это по сути безрассудно*.

Стр. 28. *Чистый и безликий, свет этот сжигает все...*—относительно чистоты и сожжения см. прим. к с. 23.

Lichtgüsse (нем.)—по Шпету—струи света.

Стр. 30. ... *чистейшее из чистых, наигоршее из горших...*—Буквально—наихудшее из худших, *le pire du pire*; см. о *pur, pur*- примечания к с. 23, а также ниже—о пирамиде и т. п.

Пирамис—речь идет о греческом πυραμίς в значении пирамида. Литтре предлагает две возможные этимологии этого слова: от πῦρ, огонь, пламя,—поскольку оно заострено кверху; и, через πυραμίς как название пирамидального пирожного, о котором упоминает Деррида,—от πυρός, пшеница. (Помимо «Гласа» пирамида, поскольку «в „Энциклопедии“ Гегель сравнивает тело знака с египетской пирамидой», является предметом посвященной «семиологии Гегеля» статьи «Колодец и пирамида» из «Полей философии»: *Marges—de la philosophie*, P., Minuit, 1972, p. 79–127).

Стр. 32. *Возведение пирамиды...*—*érection*; в пронизанном фаллическими коннотациями «Гласе» это, конечно же, одновременно и эрекция.

Удача сущности, оставания, определенного как устойчивое существование.—По-французски все существительные в этом предложении рифмуются.

Стр. 36. *Эта рефлексия, это отражение...*—Французское *réflexion*—это одновременно и рефлексия-самоанализ, и (оптическое) отражение.

Стр. 37. *...запах тела...*—Запах тела возникает здесь не случайно: упоминание о нем мотивировано дважды употребленным по соседству глаголом *s'acharner*—*упорствовать, неистовствовать* (первое из этих значений передано в переводе через *истово*). Первоначально это слово (корень которого—*chair, плоть*) означало *натравливать* (на охоте) собак, пускать их по следу.

Стр. 39. *...подделал...*—Глагол *forgier, подделывать*, связан также и с огнем: его первое значение—*ковать*.

...первая буква ... И. В. З.—...—В оригинале, естественно, буквы другие: I. L U. A. L. C.; «вокруг» букв I, a и c (последняя также и в звонкой форме: g) построен, в частности, «Глас». См. также прим. к с. 65.

Стр. 41. *...в том же склепе...*—Склеп, *крипта*—французское *crypte*—происходит от греческого *κρυπτός, потайной, скрытый, секретный*, через корень *крипто-* давшего ряд слов, связанных с идеей шифрования (криптограмма, криптография и т. п.).

Стр. 43. *...работа ... траура...*—Фрейдовское выражение *Trauerarbeit* часто переводят и как «работа скорби».

...«нет» огня...—«Нет» огня, *un peu de feu*, на слух неотлично от *un peu de feu, имя* огня.

Стр. 47. ...*бормотание Платона, заполняющее замкнутое пространство...*—и далее—аллюзии на текст «Фармации Платона», одной из трех составляющих «Рассеяние» работ.

Вторая итерация (и далее)—В этом абзаце идет речь о двух вхождениях ключевой фразы *и вот—зола* в «Рассеяние», где хронологически более раннее ее употребление стоит в напечатанной книге позже, чем ее позднейшее повторение.

Стр. 49. ...*и вот: зола...*—В оригинале *il y a là cendres*, т. е. *зола* стоит во множественном числе (что видно глазом, но не слышно на слух, ибо конечное *s* в *cendres* не читается). (Любопытно и по-своему характерно, что по-русски все три возможных перевода *cendre*—зола, пепел и прах—*сопротивляются* множественному числу.) В переводе противопоставление единичное / множественное отражено на уровне графического образа: *единичное* тире vs. *множественное* двоеточие.

Стр. 51. ...*никакой эрекции...*—См. прим. к с. 32.

...они андроизируются, они андрогиноцидируются.—Неологизмы, построенные достаточно естественным образом на основе греческих слов *андрос* (андрос), *мужчина*, *гине*, *женщина*, и производного от них *андрогин*, а также латинского глагола *caedere*, *убивать* (ср., напр., *геноцид*). Тонкость, однако, состоит в том, что глагол *s'andrent*, андроизируются, читается при этом точно так же, как и само слово *зола*, *cendre*—ср. прим. к с. 65 (в качестве своего рода

русского примера— правда, весьма искусственного— подобной конструкции можно предложить сочетание «катет катит»).

...«Фальшивую монету» Бодлера, «Очерк о даре»...— Деррида детально анализирует «Фальшивую монету» (стихотворение в прозе Бодлера) и «Очерк о даре» Мосса в своей книге «Дать время» (J. Derrida, *Donner le temps I*, P., Galilée, 1991)—наряду с текстами Хайдеггера, Бенвениста и Бланшо.

«Точный смысл похерит сдуру Смутную литературу».—Две последние строки сонета Малларме (из цикла «Посвящения и надгробья») даны в переводе М. Талова (в оригинале—*твою смутную литературу*).

Стр. 61. ...*фигура, изображение*...—Весь этот абзац построен на использовании слова *figure*, которое означает по-французски не только *фигура*, но и *изображение* (соответствующий глагол *figurer*—*изображать*), и *лицо*.

Стр. 63. *Зола же падает*...—См. прим. к с. 25.

...*устает, сдает*...—В оригинале—*lasse, lâche*: то же фонетическое различие, что и в *шибболете / сибболете!*

...*es gibt ashes*...—Неожиданная контаминация немецкого прототипа ключевой фразы (т. е. *il y a la cendre; и вот зола*)—формулы Хайдеггера *es gibt Sein*, имеется бытие (см. о ней и ее переводах выше), и английского слова *ashes*, зола (мн. ч.); своеобразная (с обращением языков) параллель неоднократно поми-

наемой в разных текстах Деррида фразе Джойса *And he war*—см. о ней, в частности, в «Вавилонских башнях» (Ж. Деррида. Вокруг Вавилонских башен. СПб., Академический проект, 2002, с. 17 и прим. к ней).

...*конис эпекейна тес усиас...* (греч.)—зола за пределами существования—переделанная формула Платона *агафон эпекейна тес усиас*, благо за пределами существования («Государство», 509b).

...*сразу же «прогоревшего» между решетками языков расстояния...*—Вероятно, аллюзия на название одного из самых известных сборников стихов Пауля Целана *Sprachgitter* (см. «Шибболет»). Здесь также уместно лишний раз напомнить, что зола, *la cendre*, содержит в себе анаграмму имени Целана, *Celan*.

Стр. 65. ...*cen dre, ashes, cinders, cinis, Asche, cendrier, пепельницей (целая фраза), Aschenbecher, ashtray и т. д., и cineres, и, в особенности, la ceniza...*—отсылающие к золе и пеплу слова на нескольких европейских языках.

«*Yo soy ceniza que sobró...*»—«Я есмь зола, от пламени в избытке;/ ничто осталось истребить огонь, что/ ласковым пожаром все спалил до нитки (*исп.*).

...«*será ceniza, mas tendrá sentido...*»—«золою будет, страдающей, однако;/ и будут прахом, прахом, возлюбя (*исп.*).

...*в качестве защиты и прославления его собственной фразы...*—Цитируется, ни много ни мало, название знаменитейшего литературного манифеста Жоашена Дю Белле «Защита и прославление французского языка» (1549).

...начальная согласная мало что значит, когда слово кончается на -ола или -ала, касается ли то глагола, имени собственного или нарицательного, или даже прилагательного, когда оно становится кратким;—мала. А что за ЛА, что он с нею делает, пусть без глаголов, спрашиваю я себя (мы, бы, за, ни, го, Кук, да ЛА).—В оригинале речь идет сначала о словах, отличающихся от золы, *cen dre*, лишь начальной согласной (точнее, начальным согласным звуком, поскольку в счет идет фонетический образ слова—и в качестве «довеска» наряду с *-end re* допускается и омонимичное ему *-and re*), причем, в частности, обыгрывается тот факт, что, хотя *-dre* является одним из стандартных глагольных окончаний, это отнюдь не гарантирует, что оканчивающееся на него слово обязательно окажется глаголом, и даже приводится пример, когда такое слово (*tend re*) может быть и глаголом, и существительным (аналогичные русские примеры—*течь, печь* и т. п.—не столь эффектны, поскольку французские *tend re* и по этимологии, и по своему значению совершенно отличны друг от друга). И далее Деррида приводит четыре значимых—и омонимичных—слова (*sans, sens, sang, cent*—*без, смысл, кровь, сто*), которые при присоединении окончания *-dre* читаются точно так же, как и слово *cen dre*. Ясно, что в подобной ситуации русский вариант может служить разве что паллиативом перевода.

Стр. 66. ...из лагуны...—В оригинале—с озера; см. примечание к противоположной странице. Здесь

же—т. е. по поводу цитаты из «Почтовой карточки»— заметим в дополнение, что озеро, *lacs*, вычитывается и из ее заглавия: *LA Carte postale* (не следует забывать и об английском *lack*—*недостаток, отсутствие*).

Стр. 67. *А с этой лагуной—или это залив, отозалив, это—залив,—когда он задействовал здесь всю телепатию—вот, тоже, И Вот ЗоЛА.*—Еще один паллиатив. В оригинале: *Et avec ce lac, ces lacs, ce lacs—quand il y engage toute télépathie, là aussi il y a LA Cendre.* Здесь не только из ключевой фразы всего текста вычитывается слово *озеро, lac* (которое «раздвоилось» при переводе на *лагуны*—в попытке сохранить фонетический «костяк» слова, играющий здесь для автора первостепенную роль: ср. примечание к прологу, там же см. и о *телепатии*; и на *залив*, составленный из выделенных в ключевой фразе букв); в перечислении (*ce lac, ces lacs, ce lacs*) заложена очередная мина под саму процедуру чтения. Дело в том, что здесь задействованы два различных слова: *lac, озеро, и lacs, шнурок, силки, козни, западня*, которые произносятся по-разному (в *lacs* две последние буквы не читаются)*; однако эти *разные* слова во множественном числе (*ces lacs*), по-прежнему разнясь в

* Между прочим, именно ошибками в произношении объясняют современные французские лексикографы происхождение фразеологизма («идиомы») *tomber dans le lac*, провалиться, потерпеть неудачу, возводя его к естественному—и зафиксированному у Литтре—обороту *tomber dans le lacs*.

КОММЕНТАРИИ

произношении, в письменном виде неотличимы друг от друга, и перед читателем встает заведомо неразрешимая и подчеркнуто не проясняемая контекстом проблема: о каком из двух слов идет в данном случае речь и как произнести среднее звено этого перечисления вслух? Тем самым под вопрос ставится сам постулат о *прочитаваемости* письменного текста, о принципиальной *разборчивости* (*lisibilité*) письменного кода, *переводимости* письменного текста в сферу фоно-логии. (Ко всему прочему, обыгрывается здесь и фонетически необнаружимое *буквенное* присутствие озера / *lac* в золе / *la cendre*.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

В настоящее приложение включены: а) ответы Жака Деррида на вопросы, предложенные издательством Autrement (*Y a-t-il une langue philosophique?* Ed. Autrement. Serie Mutations, № 102, novembre 1988, *A quoi pensent les philosophes?*, p. 30–37) и касающиеся некоторых общих позиций философа; и б) текст, написанный на рубеже 1987–88 годов в качестве медиатора—оправдания и разъяснения—к планировавшейся публикации «Золы»: в популярном тогда сериале издательства «Наука» «Восток—Запад». Помещение их в данный контекст носит в высшей степени произвольный характер: оба они ни в коей мере не призваны служить каким-либо «послесловием» или «итогом» представленных выше работ философа, а, скорее, служат соответственно побуждением и попыткой разомкнуть некоторые очерченные горизонты их обращения. (Второй текст может также служить характерной иллюстрацией к истории рецепции *Œuvre* Жака Деррида в нашей стране).

ЕСТЬ ЛИ У ФИЛОСОФИИ СВОЙ ЯЗЫК?

(ОТВЕТЫ ЖАКА ДЕРРИДА
НА ВОПРОСЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «AUTREMENT»)

1. Вы неоднократно высказывали мысль, что, прежде чем переходить к порождающей его мысли, философский текст должен приниматься как таковой. Это привело вас к прочтению философских текстов тем же самым глазом, что и текстов, обычно рассматриваемых как «литературные», и к включению последних в философскую проблематику. Имеется ли некое специфически философское письмо, и чем оно отличается от других форм письма? Не отвлекает ли нас забота о литературности от доказательной функции философского дискурса? Не рискуем ли мы при этом стереть специфику жанров и мерить все тексты одной и той же меркой?

Жак Деррида.— Все тексты различны. Нужно стараться не мерить их «одной и той же меркой», не читать «тем же глазом». Каждый текст нуждается, если можно так выразиться, в «другом глазе». Разумеется, он в некоторой степени отвечает также и кодифицированному, вполне определенному ожиданию, ему

предшествующим и его некоторым образом диктующим, его направляющим глазу и уху. Но что касается некоторых редких текстов, письмо стремится также, можно сказать, обрисовать структуру и физиологию некоего еще не существующего глаза, которому и предназначается событие текста, для которого оно и изобретает подчас свое предназначение, одновременно при этом к нему подстраиваясь. Кому адресуется текст? До какой степени можно это определить, как со стороны «автора», так и со стороны «читателей»? Почему в самой подобной определенности неуничтожимой и даже необходимой остается некая «игра»? Вопросы, помимо всего прочего, и исторические, социальные, институциональные, политические.

Если придерживаться упомянутых вами *типов*, я никогда не уподоблял так называемый философский текст тексту так называемому литературному. Мне кажется, что различие между двумя этими типами не устранить. При этом следует учесть, что границы между ними более сложны (например, я не уверен, что это, как вы подсказываете, *жанры*) и, главное, менее естественны, менее внеисторичны и заданы, нежели о том принято говорить или думать. Оба типа могут переплетаться в одном и том же своде текстов, следуя законам и формам, изучение которых не только интересно и ново, но и необходимо, если мы по-прежнему хотим ссылаться на что-то вроде «философского дискурса», зная, о чем идет речь. Разве не следует поинтересоваться условностями, установлениями, интерпретациями, кото-

рые производят или поддерживают такой аппарат разграничения,—со всеми вводимыми ими нормами и, следовательно, исключениями. К этому комплексу вопросов невозможно подступиться, не спросив себя рано или поздно: «Что такое философия?» и «Что такое литература?». Трудные и как никогда открытые, вопросы эти сами по себе не являются—по определению и, если, по крайней мере, рассматривать их эффективным образом—ни просто философскими, ни просто литературными. В конечном счете, то же самое я скажу и о текстах, которые пишу сам, во всяком случае в той мере, в какой они сработаны или надиктованы завихрениями подобных вопросов. Это не означает, по крайней мере я на это надеюсь, что они отступаются от необходимости *доказывать* со всей возможной строгостью, даже если правила доказательства уже не вполне и, главное, не всегда те же, что и в так называемом «философском дискурсе». Даже и внутри одного, как вам известно, режимы доказательности весьма проблематичны, множественны, подвижны. Они сами составляют постоянный объект истории философии. Развернувшиеся по их поводу дебаты тесно переплетаются с самой философией. Не думаете же вы, что для Платона, Аристотеля, Декарта, Гегеля, Маркса, Ницше, Бергсона, Хайдеггера или Мерло-Понти правила доказательства остаются одними и теми же? А также и язык, логика, риторика?

Анализировать форму «философского дискурса», способы его композиции, риторику, метафоры, язык, свойственные ему вымыслы, все, что в нем сопро-

тивляется переводу, и т. п. вовсе не означает сводить его к литературе. Все еще вполне философской задачей (даже если она и не остается философской насквозь) является изучение этих «форм», каковые больше чем формы, равно как и модальностей, подобно которым, интерпретируя поэзию и литературу, приписывая им некий социальный и политический статус, стремясь исключить их из своего собственного свода, институты академической философии отстаивали свою автономию, практиковали отрицание по отношению к собственному языку, к тому, что вы называете «литературностью», и вообще к письму, не придавая должного значения корням своего же дискурса, отношению между речью и письмом, процедуре канонизации важнейших или образцовых текстов и т. п. Те, кто выражает несогласие с постановкой всех этих вопросов, ожидают, что им удастся сохранить в философии некоторый институциональный авторитет, обезджив те формы, которые он принял на данный момент. Защищая себя от подобных вопросов и от преобразований, к которым оные взывают или которые предполагают, они тем самым защищают от философии и институционализированную систему. С этой точки зрения мне показалось интересным изучить некоторые дискурсы, в частности—дискурсы Ницше и Валери, которые стремились рассматривать философию как разновидность литературы. Но я под подобными намерениями никогда не подписывался и четко это разъяснил. Те же, кто обвиняет меня в низведении философии до литературы или ло-

гики до риторики (см. например последнюю книгу Хабермаса «Философский дискурс современности», французский перевод—Gallimard, 1988), явно и последовательно уклонялись от того, чтобы меня прочесть.

И в обратном направлении: не думаю, что модус «доказательности» и даже вообще философия чужды литературе. Точно так же, как у любого философского дискурса есть «литературные» измерения и измерения «вымышленности» (и целая языковая «политика», просто политика там обычно скрывается), точно так же и во всяком тексте, определяемом в качестве «литературного», как уже и в самом, в общем и целом, современном понятии «литература», работают какие-либо философемы.

Подобное выяснение отношений между «философией» и «литературой» не только трудная проблема, которую как таковую я и пытаюсь разрешить; в моих текстах оно принимает к тому же форму некоего письма, которое, чтобы не быть ни чисто литературным, ни чисто философским, старается не принести в жертву ни внимание к доказательствам и положениям, ни поэтику или фикциональность письма.

Одним словом, если отвечать на ваш вопрос буквально, я не верю, что имеется «некое специфически философское письмо», одно-единственное философское письмо, чистота коего пребывает всегда неизменной и неуязвимой для любого вида загрязнений. И прежде всего по следующей веской причине: философия выговаривается и пишется на есте-

ственном языке, а не на языке абсолютно формализуемом и универсальном. И вот, внутри этого-то естественного языка и в его использовании некоторые модусы, некоторые приемы и навязывают себя насильно (все тут соотносится с силой) в качестве философских. Подобные приемы множественны, враждебны друг другу, неотделимы от самого содержания и философских «положений». Философский спор—это также и сражение за то, чтобы навязать дискурсивный стиль, доказательные процедуры, риторическую и педагогическую технику. Всякий раз, противостоя той или иной философии, оспариваешь и собственно, аутентично философский характер дискурса другого.

2. Ваши нынешние работы отмечены, судя по всему, все растущей озабоченностью проблемой подписи, имени собственного. Почему же этот вопрос затрагивает поле философии, проблемы которой долгое время считались внеличностными, а собственные имена философов—просто эмблемами соответствующих частных проблематик?

С самого начала новой проблематике письма или следа пришлось тесным и строго необходимым образом сообщаться с проблематикой имени собственного (которая уже в «О грамматологии» тематична и центральна) и подписи (особенно начиная с «На полях философии»). Это тем более необходимо, что новая проблематика следа по ходу дела деконструирует некоторые метафизические дискурсы о субъекте, составленном из таких традиционно характе-

ризующих его черт, как самождественность, сознание, интенция, присутствие или близость к себе, автономия, соотнесенность с объектом. Речь, таким образом, идет о том, чтобы пере-местить или переписать так называемую функцию субъекта или, ежели угодно, пере-работать, выработать такую идею субъекта, чтобы она не была ни догматической или эмпирической, ни критической (в кантовском смысле) или феноменологической (картезианско-гуссерлианской). Но в то же время, принимая во внимание вопросы, адресуемые Хайдеггером метафизике *subjectum*'а как опоры представлений и т. п., мне показалось, что этот жест Хайдеггера вызывает новые вопросы.

Тем более, что, несмотря на многие усложнения, которые я попытался принять во внимание, Хайдеггер на деле обычно воспроизводит (например, в своем «Ницше») классический академический жест, который сводится к разъединению «внутреннего» прочтения текста или «мысли» и даже имманентного прочтения всей системы, с одной стороны, и «биографии», каковая остается в сущности побочной и внешней, с другой. Именно так, в общем-то, и соплагают в университетах некую разновидность классического рассказа, подчас «романизованного», о «жизни замечательных философов» с систематическим—и даже структурным—философским разбором, каковой организуется либо вокруг единственной и гениальной интуиции (мотив, в конечном счете, общий для Бергсона и Хайдеггера), либо вокруг «эволюции»—в два-три этапа.

Я попытался проанализировать предпосылки этого жеста и развернуть анализ вокруг кромок, пределов, границ, кадрирования, маргинализации всех видов, каковые обычно авторизуются подобными разединениями. Проблемы подписи и имени собственного на самом деле кажутся мне весьма уместными для этой проработки. Вообще подпись—ни *просто* внутренне присуща имманентности подписанного текста (здесь, к примеру, философского свода), ни *просто* отделима от него и наружна. В каждом из этих двух предположений она как подпись исчезает. Если ваша подпись не принадлежит некоторым образом тому же пространству, каковое вы подписываете и которое определяется символической системой условностей (письмо, почтовая карточка, чек или любое другое удостоверение), она не имеет значимости обязательства. Если же, напротив, ваша подпись была бы имманентна подписанному тексту, вписана в него как одна из его частей, она бы уже не имела больше свойственной подписи перформативной силы. В обоих случаях (вне или внутри) вы удовлетворяетесь указанием или упоминанием своего имени, что подписью не является. Подпись ни внутри, ни снаружи. Она находится на границе, определяемой системой и историей условностей; я еще пользуюсь для скорости этими тремя словами, система, история и условности, но, чтобы их поддерживать, не обойтись без вопросов, относящихся как раз к проблематике, о которой я говорю.

Следовало бы, таким образом, поинтересоваться этими проблемами: «условность» и «история»

некой топологии, кромок, краев, кадрировок, но также и ответственность и перформативная сила. Следовало бы к тому же избавиться их от противоположностей или альтернатив, о которых я только что говорил. Как же действует подпись? Все это весьма сложно, всегда по-разному, точнее, меняется при переходе от одной подписи и идиомы к другой, однако иначе не подготовить строгий подход к отношению между текстом и его «автором», текстом и условиями его производства, будь они, как говорится, психо-биографическими или социо-историко-политическими. Сказанное справедливо для любого текста и любого «автора», хотя и требует целого ряда уточнений в зависимости от типа рассматриваемых текстов. Разграничение проходит не только между текстами философскими и литературными, но и внутри этих типов и, в пределе—в пределе идиомы,—вообще между всеми текстами, которые точно так же могут быть и юридическими, политическими, научными (и по-разному в разных «регионах»). Проводя наброски подобного анализа, направленного в сторону, например, Гегеля—или Ницше, Жене, Бланшо, Арто, Понжа,—я предложил целый ряд общих аксиом, стараясь в каждом из этих случаев принимать во внимание идиому или идиоматическое желание. Я упоминаю эти примеры, поскольку касающаяся подписи работа проходит также и через имя собственное в обычном его смысле, я имею в виду фамилию в только что процитированном мною виде. Не имея возможности воспроизвести здесь всю эту работу, я хотел бы уточнить

несколько пунктов и напомнить о необходимости некоторых предосторожностей.

а. Даже когда означающее имени собственного в его общепринятой и законной форме подвергается подобному анализу подписи, последняя к нему не сводится. Она никогда не состоит просто-напросто в написании своего имени собственного. Вот почему в моих текстах ссылки на означающее имени собственного, даже если и кажется, что они выходят на авансцену, остаются предварительными, ограниченной, по сути дела, важности; всюду, где только возможно, я отмечаю свое недоверие к простым, услужливым и неправомерным играм, которым это может послужить поводом.

б. «Имя собственное» не обязательно совпадает с тем, что мы обычно так называем, то есть с вписанной в акты гражданского состояния официальной фамилией. Если называть «именем собственным» особый набор меток, черт, наименований, при помощи которых кто-то может идентифицироваться, назвать себя сам или же быть названным, выбрав и определив их не вполне самостоятельно, вы тут же заметите трудности. Никогда нет уверенности, что набор этот сворачивается, что он сводится к одному, что он не остается кое для кого—даже и для «сознания» носителя—секретом и т. д. Здесь открывается огромное поле для анализа.

с. Итак, открытой остается одна возможность: что имя собственное не существует во всей чистоте, что подпись во всей строгости в конечном счете невозможна,—если, по крайней мере, все еще

предполагать, что имя собственное должно быть абсолютно собственно подходящим, а подпись— абсолютно самостоятельной (свободной) и чисто идиоматической. Если, по причинам, которые я пытаюсь проанализировать, никогда не бывает чистой идиомы, во всяком случае идиомы, которую я мог бы дать *себе* или измыслить во всей ее чистоте, то отсюда следует, что понятия подписи и имени собственного, при этом, тем не менее, не разрушенные, должны быть переработаны. Переработка эта, как мне представляется, может послужить поводом для новых правил, новых процедур прочтения, особенно в том, что касается отношений «автора»-философа с его текстом, обществом, образовательными установлениями, издательскими учреждениями, традициями, наследием; но я не уверен, что она могла бы послужить поводом для некоей общей теории подписи и имени собственного в соответствии с классической моделью теории или философии (формализуемый, констатирующий и объективный мета-язык). Ведь по тем же самым причинам, о которых я только что напомнил, новый дискурс о подписи и имени собственном должен быть снова подписан и содержать *в самом себе* метку перформативной операции, каковую нельзя попросту и полностью удалить из рассматриваемой совокупности. Все это не ведет к релятивизму, но сообщает иной изгиб теоретическому дискурсу.

3. Поместив свои работы под рубрикой «деконструкции», вы в явном виде противопоставили их тема-

тику хайдеггеровской тематике деструкции. От «отступа» к «в-не», от «почтовой карточки» к «посылке», от «полей» к «прибрежьям» деконструкция сплетает все более и более тесную сеть имен, которые не являются ни понятиями, ни метафорами, а кажутся скорее точками отсчета или вехами. Не сродни ли деконструирующая деятельность деятельности землемера или геометра? Не подкрепляет ли такое «опространствливание» соотносительности с традицией идею о некоем «закрывании» этой традиции—в ущерб более дифференцированному восприятию множественности связей и нитей приемственности?

Да, отношение «деконструкции» к хайдеггеровской «деструкции» постоянно, на протяжении вот уже более двадцати лет, было отмечено вопросами, смещениями и даже, как иногда говорят, критикой. Я в очередной раз напомнил об этом в начале книги «О духе» (Galilée, 1987), но ситуация была такой, начиная уже с «О грамматологии» (Minuit, 1967). Тем не менее, мысль Хайдеггера остается для меня в панораме нашего времени одной из самых строгих, вызывающих и необходимых. Я позволил себе напомнить об этой двоякости, дабы подчеркнуть, до какой степени забавными и шокирующими нахожу все упрощенческие классификации и поспешные гомогенизации, в том числе появившиеся в последние месяцы (я имею в виду не только газеты). Подобные заблуждения и грубость не менее угрожающи, чем обскурантизм, причем угрозы эти в равной степени и моральные, и политические, не говоря уже о самой философии.

Подхватывая сказанное вами, если вышеупомянутая «сеть» не сводится ни к сплетению понятий, ни к сплетению метафор, я не знаю, состоит ли она только из «точек отсчета» или «вех». Меня подмывает спросить, что вы под этим понимаете. Следующая ваша фраза, по-видимому, указывает, что подобным словоупотреблением вы выдвигаете на первый план отношение к пространству и—в пространстве—к опыту «геометра» или «землемера». Но вы, конечно же, знаете, что геометр—уже более не землемер (см. «Начала геометрии» Гуссерля, перевод и введение, PUF, 1962) и что, помимо этих двух, имеется и множество других разновидностей пространственного опыта.

Но сначала мне хотелось бы вернуться к вопросу о понятии и метафоре, которого вы вскользь коснулись. Два уточнения: я никогда не сводил понятие к метафоре или, как и поныне обвиняет меня Хабермас, логику к риторике (не в большей степени, как говорилось выше, чем философию к литературе). Об этом ясно сказано во многих местах, в частности, в «Белой мифологии» (входящей в «На полях философии», Minuit, 1972), которая предлагает совершенно иную «логику» отношений между понятием и метафорой. Я вынужден ограничиться здесь этой отсылкой. Каким бы ни было в действительности мое внимание к вопросам и опыту пространства—идет ли речь о «Началах геометрии», о письме, живописи, рисунке (см. «Истина в живописи», Flammarion, 1978),—на мой взгляд, *разнесение-распространение*, о котором я говорю, вовсе не явля-

ется чисто «пространственным» или «опространствливающим». Несомненно, оно позволяет, если можно так выразиться, реабилитировать пространственность, которую некоторые философские традиции подчинили, отодвинули на второе место или даже проигнорировали. Но, с одной стороны, «распростирание» означает также и становление пространством самого времени, вместе с различием оно вмешивается в движение самой темпорализации, можно было бы сказать, что распространение—это также и время. С другой стороны, неустранимое в качестве дифференциального интервала, оно разрывает присутствие, самотождественность любого присутствия—со всеми вытекающими отсюда последствиями. Которые можно проследить в самых различных областях.

И тут я должен заявить, что не очень-то вижу, как этот жест, который, конечно же, не является «опространствливанием», мог бы отмечать «закрытие» «традиции». Дифференциальное распространение, напротив, указывает на невозможность *какого бы то ни было* закрытия. Что же до «множественности связей и нитей преемственности» и необходимости некоего «более дифференцированного восприятия», и то, и другое постоянно будет—в частности, под именем рассеяния—в некотором роде моей «темой». Если принимать выражение «множественность связей» в его «семейной» буквальности, то окажется, что это почти в точности «предмет» «Рассеяния», «Фармации Платона» и особенно «Гласа» и «Почтовой карточки». Если же восприни-

мать все это с большей дистанции или высоты (я пытаюсь понять подоплеку вашего вопроса), я всегда разграничивал «закрытие» и конец (см. «О грамматологии») и часто напоминал, что традиция не была однородной (отсюда и мой интерес ко всем неканоническим текстам, расшатывающим устоявшееся представление о некоей главенствующей традиции, которая сложилась сама по себе). Я часто высказывался о том, сколь проблематичной представляется мне идея Метафизики и хайдеггеровская схема эпохальности бытия или собранной воедино истории бытия, даже если и принимать во внимание эту «авто»-интерпретацию—в ее притязаниях, желании, ее границе или провале. Я закавычиваю «авто», поскольку именно эта тождественность и особенно самотождественность, эта способность к прозрачной, исчерпывающей и итожащей рефлексивности и окказывается здесь постоянно под вопросом.

4. Новые ваши исследования направлены на «философскую национальность». В чем, как вам кажется, язык причастен к конституированию той или иной идентичности? Существует ли французская философия?

Все зависит, очевидно, от того, что понимать под языком. А также, простите, под «идентичностью» и «конституированием». Если, как мне кажется, под идентичностью вы подразумеваете идентичность некой «философской национальности» или же, шире, некой философской традиции, я бы сказал, что язык, само собой, играет здесь очень важную

роль. Философия обретает свою стихию в так называемом естественном языке. Она никогда не могла всецело формализоваться на каком-либо искусственном языке, несмотря на несколько отчаянных попыток, имевших место в ее истории. Верно и то, что формализация эта (использующая составленные в ходе истории искусственные коды) постоянно в той или иной степени задействована. Что превращает философский язык или философские языки в более или менее четко ограничиваемые и тесно сцепленные языковые подмножества, точнее, подмножества употреблений естественных языков. И между подобными подмножествами различных естественных языков можно обнаружить эквивалентности и установленные переводы. Немецкие и французские философы могут таким образом ссылаться на старинные и стабильные условности, чтобы перевести соответственно использующиеся ими слова с большим философским содержанием. Но вам ведомы все возникающие при этом проблемы, и они неотличимы от собственно философского спора.

Если, с другой стороны, никто не мыслит вне той или иной языковой деятельности, вне того или иного языка (предположение, которое следовало бы, тем не менее, сопроводить многочисленными оговорками, но я не могу здесь на этом задерживаться), то тогда, конечно, идентичность—и особенно национальная идентичность в философии—не конституируется вне стихии языка.

Исходя из этого, вряд ли можно установить простое соответствие между национальной философ-

ской традицией и языком в обычном смысле этого слова. Так называемые «континентальная» и англосаксонская (называемая также аналитической философией) традиции, если воспользоваться этими тяжеловесными и неточными наименованиями, делят к тому же—и весьма неравным образом—английский, немецкий, итальянский, испанский и т. д. языки. «Язык» (я хочу сказать, подкод) аналитической философии или той или иной традиции (англо-американской: Остин; австро-американской: Витгенштейн) вовлечен в отношения перемотивированности с так называемым национальным языком, на котором разговаривают граждане разных стран (английский американцев, нефранцузское франкоязычие и пр.). Этим объясняется, почему вне языка, называемого оригинальным (языка оригинального текста), развивается подчас традиция прочтения, оказывающаяся трудной для усвоения как раз теми, кто говорит—или думает, что говорит,—на этом оригинальном языке. Что—очень по-разному—верно для Витгенштейна и Хайдеггера. Французские «прочтения» или «восприятие» Хайдеггера встречаются в Германии (как и сам Хайдеггер, и не только по политическим мотивам) огромное сопротивление. Что касается французских специалистов по Витгенштейну, то ни немецко-, ни англоговорящие круги ими вообще не интересуются, так что даже и не скажешь о каком-либо сопротивлении.

Итак, существует ли французская философия? Нет, менее чем когда-либо, если рассмотреть разнородность, а также конфликтность, отмечающую

все так называемые философские выступления: публикации, доктрины, дискурсивные формы и нормы, связи с учрежденческими механизмами, с властью социологии, с властью масс-медий. Трудно было бы даже установить типологию, ведь любая попытка типологии предполагала бы как раз некую интерпретацию, которая встала бы в конфликте на одну из сторон и тут же встретила бы вполне предвидимую недоброжелательность со стороны почти всех остальных. Так что, хотя у меня и есть на этот счет кое-какие мысли, здесь и сейчас я на такой риск не пойду. Но зато, несмотря на все битвы и споры о философских «позициях» или о «практиках», кто может сегодня отрицать наличие некой конфигурации французской философии и что в своей истории, несмотря на последовательность гегемоний, переменчивость главенствующих течений, конфигурация эта образует традицию—некий относительно идентифицируемый элемент передачи, памяти, наследия? Для его анализа пришлось бы учесть огромное количество данных—всегда в состоянии перемотивированности—исторических, лингвистических, социальных, пропущенных через очень специфические институты (в смысле не только учебных или научно-исследовательских), никогда при этом не забывая эту, в общем-то основополагающую, перемотивированность, каковую и называют философией—если она есть! Задача слишком трудная, слишком животрепещущая, чтобы я посягнул на нее в нескольких фразах. Полагаю, что никогда еще идентичность французской философии не под-

ЕСТЬ ЛИ У ФИЛОСОФИИ СВОЙ ЯЗЫК?

вергалась столь суровому испытанию, как сегодня. Спазматические признаки, проявляемые университетской властью в ее официальных инстанциях, свидетельствуют об этом столь же явно и часто в том же направлении, что и определенная журналистская агрессивность. Приведу единственный достаточно свежий пример и упомяну о запрете, наложенном СNU на университетское профессорство Лаку-Лабарта и Нанси—философов, творчество которых уже много лет известно и уважаемо как во Франции, так и за ее пределами. Через эти знамения войны, подчас смехотворные и в конечном счете парализующие только то, что уже и без того мертво и парализовано, «суровое испытание», о котором я только что упомянул, жалуется свою исключительность тому предмету, что зовется «французской философией». Она принадлежит идиоме некоего наречия, которую, как всегда, труднее заметить изнутри, чем из-за границы. Идиома же, коли таковая имеется, никогда не чиста, никогда не выбрана или проявлена со своей собственной стороны, по справедливости. Идиома—всегда и только—для другого, заранее присвоена (пере-своена).

ЗАПАДНО-ВОСТОЧНОЕ ПАСПОРТУ

ВИКТОР ЛАПИЦКИЙ

—Хотелось бы, чтобы в эту рамку помещались разные тексты.

—Европейский стиль изложения: логическая связность текста, копулятивная анатомия логических вязок, вводные слова, отступления, система времен, характеризующая отношение говорящего (пишущего) к излагаемому (или слушающего / читающего), обязательная сцепленность (абзац, монтаж) соседних фраз друг с другом, голос автора, лишь подчеркиваемый риторическим обезличиванием, например, научным, и т. д., и т. п.; все это направлено на создание линейной (индивидуальной то есть) перспективы, на закрепощение, на строжайшую привязку каждой, скажем, фразы к ландшафту, образованному целым (структура). Восточный текст напоминает живописный китайский свиток—если европейский—полотно а là ренессанс. Или хотя бы японский сад камней.

—Ведь никому не придет в голову назвать «Даодэ-цин» полилогом.

—Вспомним [«даосскую порождающую систему»] у *син* с током *шэн* в ее контуре: дерево в своем максимальном состоянии, то есть в состоянии перенапряжения, предельной интенсивности, на подъеме у самой вершины цикла—ближе, ближе к небу—порождает—и потребляется им—огонь, абсолютный апогей, который порождает землю, оставляет по себе золу, что у-добрает землю, не(по)движную точку вращения мира.

—Меняются, по выражению Гране, не вещи, а Пространство-Время, и оно навязывает им свой ритм.

—В схеме у *син* земля занимает зону центра—

—И земля здесь не та, что в классической китайской триаде земля-человек-небо («Поднебесная»). Земля: ком глины, горсть подзола, струйка песка, пригоршня праха, персть.

—центра не только пространственного (оси храма), но и темпорального, великого полудня, спаивающего обручальное кольцо года, персть-тень сезонов.

—Левое (от центра) поле—онтология, правое—грамматология; между ними, как между крыльями бабочки Чжуанцзы, зажато тельце бабочки—след тельца куколки—след следа тельца гусеницы—ф(ен)о(ме)нология (на фоне *фоне*).

—Дао связано не только с «путем», но и с «торить». Прокладывать путь—это оставлять след. След—метафора золы. Прото-иероглиф: (почти) замкнутое лицо (три волоска, как языки пламени, вовне), нога и ее след, отпечаток, ею оставленный,—вот *дао*.

—Но первая фраза «Сицычжуань» гласит: «Один (раз) инь, один (раз) ян, вот—дао!»

—Противопоставление доминирует чередование, торит структурализм. Чередование доминирует противопоставление, вторит китаец. Наиболее западное из всех слов—структура...

—Не просто дурная (телескопическая) бесконечность представляемости представляющего между обкладками конденсатора знака, у *син* деконструирует наличием в себе структуры семиологически признанную структуру знака, эпопею (Андрей Белый, Фрейд) взаимоотношений означающего и означаемой, по-эсхеровски создавая телескопическое кольцо в сечении контура кольца основного: тор.

—У *син*—универсальное означающее (окончательное,

—И тем самым сопологаемое (как *circum-cisio*?) окончательному означающему Лакана—фаллосу.

—финальное), а отнюдь не иллюстрация закона сохранения или экономики обмена, у важнее, чем *син*; Гране, к примеру, долго обсуждает, какому же слову под силу перевести «син», оказывается, такового

в общем-то и нет: пустое понятие? означаемая без означающего?

—Для единственного французского слова *la cendre* в русском языке существует три перевода, три соответствующих слова

—Считается, что проявленное начинается с числа три...

—зола пепел прах. Осязаемая зола, почти не осязаемый пепел, неосязаемый прах. Зола, зола золы, зола золы золы. Зола ничтожна—своей материальностью, пепел духовен—своей поэтической сублимацией (Андрей Белый), прах возвышен—кремацией (великого) усопшего (урна). И все они противятся множественному числу.

—Повтор: *шэн шэн*—производящее произведенное, не путать со второй природой Эриугены. «Чередующееся порождение—вот что такое превращение» («Ицзин»). И еще—о числах. Забавно, что две особо значимые для «Ицзина» цифры являются (нам) двойниками: 69.

—Кстате о *шэне*: губной органчик под таким названием бывает мужским и женским (а не только раги и рагини).

—В оригинале: *la*—самка, грамматическая марка (метка), лишенная всего, кроме родовой бытийственности; *lá*—отношение в чистом виде, пробел в бытийствующем (след хайдеггеровского просвета в бытии?), обытийствляющий маркер, кастрирующий

аксан (акцент) лишил его пола. В переводе: тире, которое существует только на пустом месте—где нет и не будет ничего, кроме места. Тире, может, тоже отсутствие бытийственности, пробел / разрыв в бытии: второй степени, зола золы: прах.

—Акцент как жест: человеческое, с лишком человеческого.

—Все происходит здесь в невозможном месте, бесконечно исчезающей зоне между: речью и письмом, перформативом и констативом, ухом и глазом, мужским и женским; на мембране (гимене) граммофона оседает пылью зола нашей фразы («абсолютно тихий голос»). Зола как заместитель бытия...

—Так же и кольцо (нуль) у *син*: сочетание вертикали и горизонтали, означающего и означаемого, парадигматики и синтагматики, пространства и времени, мужского и женского. Гармоническая полифония, знак, речь, квадратура круга, совокупление: вокруг золы.

—Ну а в музыке: между исполнением (и, даже, *записью* (граммофон)) и нотами («нотной записью»), как бы отсутствующими на Востоке, партитурой—что?

—Грамматология—зола [онтологии]: после холокоста; письмо: холокост холокоста. После потопа (но где же вода?)—ковчег (завета?): *шэн* переводит воду в дерево (деревянный ковчег переводит), переход, следуя Фу Си, от инь к ян. Писание?

—Письмо, которому, по речению Конфуция, не вместить в себя речь, которой не вместить мысль; письмо, изобретение Дву-речья.

—Тире здесь—мостик, абсолютно тихий жест, черта между планом граммат(олог)ическим и планом онт(олог)ическим / пространственным / дифференсным, т. е. различенствующим.

—Разли́чье: противопоставление, чередование, шесть и девять.

—Безмолвная и безграмотная зона между—письмом и речью, которой нет места, организована, зола места, в русском и французском совершенно по-разному: две эти зоны деконструируют друг друга.

—Мы—вместе—попадаем в более письменную, существенно более письменную, нежели исходный текст, ситуацию, отделенные от *фоне* еще и (пере)-водной стихией. Переводчик—пере-вод (св. Христофор), поводырь, который переводит (носит?) слепого гиганта (язык? текст? язык через текст? текст через язык?).

—Как перевести подобный текст на чешский? А на китайский?

—Здесь уже не грамматология, а грамматофонология, граммофонология, зыбко золы.

—Из звуковых, музыкальных соображений (последовательность нот) место земли (золы)—между дедом и огнем, т. е. до возгорания.

—До (библейский лубок): Адам в апогее райского блаженства вкушает от дерева на вершине мира, от дерева познания, каковое—предел дерева, со-общающий(ся) с небом: то единственное дерево (the one tree), что есть уже огонь, возгорание дерева, всеожжение, зола жизни земной, рождаемой из золы праха.

—Различание между двумя хрониками Томаса Кавенанта (Фомы Заветного): огонь без выгорания, экономика без потребления / сколь угодно длимый холокост, после которого—зола, прах. Модель грехопадения. И—зов Лота.

—Холокост—как замыкание круга в высшей точке движения *шэн* кольца у *син*, в точке, где есть только огонь, пламя, где сгорает—в один миг, одним махом, всего один раз—все.

—*Шэн* обычно трактуют как материнство: мать / сын, и мать, как мы знаем, переживает ребенка.

—На китайский лад отцовство начинается с момента прерывания пуповины (*ом-фалос*) и—параллельно—давания—отцом—имени ребенку. Материнство—с зачатия.

—И материнство порождает подавление: пятико-нечная даосская звездочка доминирования *кэ* разобщает огонь и золу, устанавливая при этом су-против их общего врага—воду, которая, заметим, изгнана из текста.

ЗАПАДНО-ВОСТОЧНОЕ ПАСПАРТУ

—Да и дерева почти нет: зола да огонь, да-да, *der Geist ist Flamme*.

—Но где—зола? И когда?

—Традиционный метод измерения времени в Китае: возжигание градуированных палочек благовоний.

—Запуск: отложить один стебель тысячелистника в сторону.

—Между шестым месяцем—конец лета—и седьмым—начало осени—вставляется фиктивный месяц, ничего не добавляющий к длительности, ибо ее не имеющий, но, как-никак, сопологаемый всему году (как предисловие к «Ессе Ното»): месяц пребывания в зоне центра (золе места), идеальный месяц, месяц без праздников, месяц без свойств (меж собакой и волком: пепелище сумерек), которому в кольце *у син* (круглый год) соответствует земля.

—А Йом Киппур?

—Холокост: дхармачакраправартана.

—*To be redeemed from fire by fire*.

—И вот—зола... *Il y a là cendre*.

СЕРИЯ «КРИТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

вышли в свет:

Жиль Делёз, Ницше

Жорж Батай, *Внутренний опыт*

Филипп Лаку-Лабарт, *Musica ficta: Фигуры Вагнера*

Морис Бланшо, *Мишель Фуко, каким я его себе представляю*

Жак Рансьер, *Эстетическое бессознательное*

Жан-Франсуа Лиотар, *Хайдеггер и «евреи»*

Эмманюэль Левинас, *О Морисе Бланшо*

Ален Бадью, *Манифест философии*

Жан-Клод Мильнер, *Констатации*

Жиль Делёз, *Критика и клиника*

Ален Бадью, *Этика*

готовится к изданию:

Жак Рансьер, *Несогласие*

пер. с франц. В. Е. Лапицкого

WWW.MACHINA.SU

Жак Деррида

ЗОЛЫ УГАСШЪЙ ПРАХ

Издатель Андрей Наследников

Лицензия № 01625 от 19 апреля 2000 г.

191186, Санкт-Петербург, а/я 42; e-mail: a@machina.su

Формат 70 × 90/32. Бумага офсетная. Печать офсетная

Отпечатано в ООО «Чебоксарская типография № 1»

428019, Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15. Зак. 1324

ЖАК РАНСЬЕР

Несогласие

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
В. Е. ЛАПИЦКОГО

Жак Рансьер — всемирно известный философ, профессор университета Париж VIII (Сен-Дени) — представлен в России прежде всего переводами своих актуальных исследований в области эстетики, но полноценное восприятие его влиятельной философской системы невозможно без знакомства с развитой им *философией политики*, изложению и обоснованию которой посвящен центральный труд мыслителя — книга «Несогласие» (1995).

Opus magnum Рансьера начинается с фразы: «Существует ли политическая философия?» Собственно, вскрытие и анализ противоречий, заключенных как в этом сочетании слов, так и в предполагаемом за ним со времен Платона и Аристотеля предмете, и составляет здесь основную ось рассуждений, сводящих в едином фокусе историческую и сугубо современную перспективы.

ISBN 978-5-90141-106-3

АЛЕН БАДЬЮ
МАНИФЕСТ ФИЛОСОФИИ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
В. Е. ЛАПИЦКОГО

Интеллектуальный бестселлер конца двадцатого века, «Манифест философии» Алена Бадью, в сжатой и энергичной форме представляет одно из значительнейших событий в истории новейшей мысли—глобальную «философию события», реализующую небывалый по дерзости замысел: в эпоху пресловутого «конца философии» сделать еще один шаг и, повторив жест Платона, заново отстроить философию в качестве универсальной доктрины, обусловленной положениями науки, искусства, политики и любви и обеспечивающей им возможность гармоничного сосуществования.

«Какими бы критериями мы ни руководствовались, Ален Бадью является одним из самых значительных и оригинальных философов, работающих сегодня во Франции, и, возможно, единственным серьезным соперником Делеза и Деррида в борьбе за бессмысленный, но неизбежный титул „крупнейшего из современных французских философов“»

Питер Холлуард, Кингз колледж, Лондон

ЖИЛЬ ДЕЛЁЗ
КРИТИКА И КЛИНИКА

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
О. Е. ВОЛЧЕК И С. Л. ФОКИНА

Последняя прижизненная книга Жюль Делёза—сборник эссе, посвященных любимым писателям философа, среди которых Кафка, Мелвилл, Беккет, Захер-Мазох, Лоуренс, Ницше и др. Развивая идеи своих классических работ, Делёз выступает против сведения литературы к психоанализу, к комплексам, к вечным «папа-мама-пи-пи» секретам. Перспективная задача писателя—поиск собственного языка. Именно в решении этой задачи писатель может соприкоснуться с клиническим опытом или втянуться в еще более опасные становления—другим—животным, звездой, женщиной, ребенком. Литература в этом смысле говорит на иностранном языке—каждый писатель вырабатывает внутри, точнее на границах, своего родного языка новый язык, который только и делает его писателем. Анализ этих языков и посвящена эта книга.

СЕРИЯ «НОВАЯ ОПТИКА»

ЖИЛЬ ДЕЛЁЗ

*фрэнсис бэкон:
логика ощущения*

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

А. В. ШЕСТАКОВА

«Логика ощущения»—единственное специальное обращение Жюль Делёза к изобразительному искусству. Детально разбирая произведения выдающегося английского живописца Фрэнсиса Бэкона (1909–1992), автор подвергает испытанию на художественном материале основные понятия своей философии и вместе с тем предлагает оригинальный взгляд на историю живописи.

Издание предназначено для философов, искусствоведов, а также для широкого круга читателей, интересующихся культурой и искусством XX века.

ISBN 978-5-90141-091-2

КРИТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЖАК ДЕРРИДА

ЗОЛЫ
УГАСШЬИ
ПРАХ



MACHINA
ПЕТЕРБУРГ

ЖАК ДЕРРИДА • ЗОЛЫ УГАСШЬИ ПРАХ

СЕРИЯ «КРИТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

вышли в свет:

Жиль Делёз, Ницше

Жорж Батай, *Внутренний опыт*

Филипп Лаку-Лабарт, *Musica ficta: Фигуры Вагнера*

Морис Бланшо, *Мишель Фуко, каким я его себе представляю*

Жак Рансьер, *Эстетическое бессознательное*

Жан-Франсуа Лиотар, *Хайдеггер и «евреи»*

Эмманюэль Левинас, *О Морисе Бланшо*

Ален Бадью, *Манифест философии*

Жан-Клод Мильнер, *Констатации*

Жиль Делёз, *Критика и клиника*

Ален Бадью, *Этика*

готовится к изданию:

Жак Рансьер, *Несогласие*

пер. с франц. В. Е. Лапицкого

WWW.MACHINA.SU

ЖАК ДЕРРИДА • СЛУХОБИОГРАФИИ

ЖАК ДЕРРИДА • ВОКРУГ ВАВИЛОНСКИХ БАШЕН

ЖАК ДЕРРИДА • ШИББОЛЕТ

ЖАК ДЕРРИДА • ЗОЛЫ УГАСШЬЙ ПРАХ

ЖАК ДЕРРИДА

ОТ ВАВИЛОНА
ДО ХОЛОКОСТА

СЛУХОБИОГРАФИИ
ВОКРУГ ВАВИЛОНСКИХ БАШЕН
ШИББОЛЕТ
ЗОЛЫ УГАСШЬЙ ПРАХ



MACHINA

WWW.MACHINA.SU